

---

## РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

**Ефим Гаммер**  
(г. Иерусалим, Израиль)

### ЭМИГРАНТЫ ИЗ АТЛАНТИДЫ ЗЫБУЧЕГО ВРЕМЕНИ

(повесть нашей жизни с фрагментарным вкраплением отрывков из авторских очерков)



*Ефим Гаммер родился в Оренбурге, на Урале, в 1945 году. Жил в Риге. Окончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики. В Израиле с 1978 года. Автор 15 книг прозы и стихов. Печатается в Израиле, России, США, Франции, Германии, Дании, Финляндии и в других странах Европы. Лауреат ряда международных премий по литературе. В том числе Бунинской, Москва, 2008 год, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007 год, «Золотое перо Руси», Москва, 2005 год. В 2010 году Оргкомитет Международного конкурса «Национальная литературная премия Золотое перо Руси» наградила Ефима Гаммера именной медалью на постаменте с надписью, что он является одним из 50-ти «Лучших авторов нового тысячелетия». Награда вручена за создание нового жанра — повести и романа ассоциаций.*

*Член редколлегии «Приокских зорь», постоянный автор журнала.*

### Глава первая

Я родился 16 апреля 1945 года, когда советские войска начали штурм Берлинской цитадели. И с первого дня жизни оказался эмигрантом. Потому что вышел в мир не на родине моих предков, не в Одессе, а на Урале, куда были эвакуированы родители с военным заводом.

Делопроизводитель Оренбургского (тогда — Чкаловского) ЗАГСа вписал в мою метрику имя Марик. Несколько дней я пускал пузыри, укачиваемый в колыбели мертворожденным именем.

Мои родители получили телеграмму от тети Фани, сестры моего папы Арона, о внезапной смерти ее мужа Фимы. Естественно, без каких-либо вредных для здоровья подробностей — «умер от разрыва сердца».

Таким образом тетя Фаня передала эстафету древнего имени, смысл которого — «жизнь», новорожденному мальчику, впитавшему, будучи Мариком, уже первые капли материнского молока.

Со смертью дяди Фимы и Марик ушел в небытие.

Я стал Ефимом. Это имя вросло в мою метрику, отвоевав у Марика свое скром-

ное жизненное пространство — сантиметр-полтора во главе строки. В результате, не успев произнести еще ни единого слова, я уже величался как какой-нибудь испанский гранд: Ефим-Марик, о чем любил вспоминать мой папа Арон.

Но в реальной жизни я никогда не пользовался многосложным именем. Мне и за глаза хватало одного. Фима... Вот и все, что мне досталось в наследство от борца-тяжеловеса, столь же остро воспринимающего слово «победа», как и я.

В этом рассказе, превратив на основе семейных преданий реального человека в литературного героя, я несколько изменил его фамилию, чтобы меня, еще не рожденного в день его смерти, не упрекнули в каких-то неточностях.

Дядя Фима скончался на перроне Московского вокзала, когда увидел, что его, недавнего подследственного, бывшего директора Тагильского цирка встречает артистическая Москва. Встречает как чудо, как первую ласточку необъяснимо важной для всех весны, которая, по представлениям людей, должна была наступить с победой над фашистами.

Дядя Фима, не похожий после допросов на себя самого, ступил на московский перрон. Лицо здоровяка было превращено в сморщенную печеную картошку. Глаза, прежде вспыхивающие смехом, напоминали теперь подернутую ледком прорубь.

Единственное, что еще бессловесно говорило о настоящем Фиме, это кожаное пальто необъятных размеров, в котором он бултыхался, как неуправляемый парусник в штормовом море.

Дядя Фима ступил на московский перрон живым.

Дядя Фима увидел перед собой друзей-артистов, а в распахнутых сердцах — веру в чудо.

Фима был чудом для Москвы. Но в нем вера в чудо уже умерла.

Двужильное сердце борца-тяжеловеса не выдержало.

Фима разорвал на груди кожаное пальто и рухнул под ноги артистической Москвы. Мертвым.

И артистическая Москва все еще, наперекор смерти верящая в чудо, вдруг с ужасом осознала: Оттуда... Живыми... Не возвращаются...

#### ОТТУДА...

Фима попал «туда», как мне довелось услышать в детстве от взрослых представителей нашего семейства, угодив в шестеренки ура-патриотической кампании по изготовлению «японских шпионов». Он был директором цирка. О японцах, должно быть, совсем не думал. Более того, не предполагал, что и с ними предстоит война. Но, прослышав о том, что у уборщика сцены — а был он человеком азиатской внешности — больны дети, передал ему в цирковом буфете плитку шоколада. Не учел Фима — везде глаза, а где глаза, там и стукачи. Буфетчик по прозвищу Молочный король был глазастым и писучим. Все, что видел, описал, попутно высказал свои соображения и...

Уборщика сцены (корейца, либо китайца, попробуй различить, если к людям относишься без предвзятости!) сразу же после прочтения доноса возвели в ранг резидента вражеской разведки. Фиму зачислили в его пособники. А серебряная фольга, вымытая с растворенным шоколадом из желудков затюканных малышей, была оформлена как зашифрованное донесение шпионского характера.

Резидента, якобы японца (либо корейца, либо китайца), дабы не переводить харчи и государственные чернила на оформление дела — расстреляли. Его ребяню рассовали по детским домам — пусть не лакомится шоколадом, предназначенным по официальной версии для цирковых слонов. А Фиму...

Вероятно, надобность в изготовлении японских шпионов отпала. Вероятно, готовящегося к принятию безоговорочной капитуляции немецко-фашистской Германии

Главкома осенила мудрая мысль: на создание и разгром агентурной сети японских разведчиков у чекистов времени уже нет, а Красная армия и без этих условностей справится со своей дальневосточной сестрой — Квантунской. Вероятно... Впрочем, кто скажет доподлинно, что «вероятно» на самом деле. Мертвые не говорят, даже если их оставляют живыми.

### ЖИВЫМИ...

Фима был живым человеком. Смерть не брала его даже из револьвера.

В пору великого голода на Украине, когда человек его комплекции был достаточно лаком для подпольных фабрик-кухонь, он бесстрашно хаживал по пропахшим кровью и порохом сельским дорогам. Менял пожитки на съестные припасы, и каждый раз, невредим и здоров, возвращался в родную Одессу, таща на горбу полотняный мешок, перетягивающий на весах той людоедской эпохи пяток-другой человеческих жизней.

В пору великого голода на Украине, когда в Одессе питались разве что страхом, слагая по привычке легенды о Мишке Япончике, досужие умы выбросили на рынок слухов новую подкормку. Когда на глазах моей мамы, тогда совсем еще девчонки Ривы Вербовской, умер от голода ее младший братик Мишенька и следом за ним дедушка Шимон, обескровленная на бескормице Одесса питалась страхами о новоявленном черте из преисподней. «Глаза красные, и горят как угли. На лбу рога: раз вдарит по ребрам, и поминай как звали!»

Черт квартировал у въезда в город и собирал у всех мимоезжих людишек дань. Разумеется, натурой. А у кого ничего съестного не было, того брал к своей чертовой бабушке — на тот свет.

Фима знал о черте. Но, кроме того, он знал и о голоде.

Голод оказался страшнее черта, и он пошел в деревню с мешком обменных вещицек.

И вернулся. С запасом калорий. И с чертом, брыкающимся в мешке.

Черт встретил Фиму ночью. На подходе к городу. В точном соответствии со своим кодексом чести он вполне профессионально, с адовой старательностью, прожигал одинокого путника огненным взглядом, скреб копытами гравий, высекал в темени яркие искры.

Черт пах серой, а его наган сожженным порохом.

Фима пах караваем хлеба, сушеными фруктами и нерастраченной по пустякам жизнью.

Черт принялся и, предвкушая удовольствие, весело заржал.

— Клади мешок на землю и делай отсюда ноги. Спрашиваешь, куда? Туда, откуда тебя мама родила! — сказал он сквозь ржачку и, наклонив по-бычьей голову, сотворил устрашающий выпад рогами.

Фима положил мешок на землю, освободил руки. Секунду спустя черт лежал под ним, ошеломленный, раздавленный. Захват циркового борца был прочным, как волчий капкан.

Затем Фима обрушил кувалду кулака на чертову голову, и она, справедливости ради, раскололась. Из нее высыпали уже высохшие тыквенные семечки и два адских угля — фонарики.

Фима вторично обрушил кувалду кулака на чертову голову. На сей раз удар действительно пришелся по голове, а не по тыкве. И черт затих под ним, потеряв дар речи и чуть-чуть сознания — на те несколько часов жизни, которые мог бы прожить как человек. Об этом черт не распространялся у стенки, куда его поставили, вынув из Фиминого мешка, ибо его тут же лишили пулей права голоса. А с того света не возвращаются.

НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ...

Фиме довелось вернуться с того света. Один раз.

Второй раз не вышло. Но вот в первый — он обманул судьбу.

Ни с того, ни с сего, или в полном согласии с логикой пристеночного времени Фиме — цирковому борцу — поручили создать театр. Нет, не Большой, не Малый. В Москве они уже были в наличии. Цыганский!

— Дорогой товарищ! — сказали ему с чувством победившего социализма. — Не кажется ли тебе, что назрела острая необходимость в национальном цыганском театре? А то, сам понимаешь, маэстро, народ без театра — это беспризорный народ. Ему негде собираться по вечерам, чтобы петь и смеяться как дети. Без театра этот беспризорный народ, Фима, поет и смеется на улицах и площадях, докучает партийной публике и членам профсоюза гаданиями за наличман о том, что будет. А То, Что Будет, известно, сам догадываешься Кому. Он конкуренции не потерпит. И То, Что Будет, окажется для гадалелей и их клиентов совсем не медовым пряником. Так что дерзай!

— Но я же еврей! — вильнул Фима от назначения. — Что я знаю о цыганском искусстве?

— Ничего! — утешили его. — Не отчаивайся, что еврей. Евреи у нас проходят... пока еще... за самый правильный, самый интернациональный народ. Это потом, когда обрядят вас в безродные космополиты, мы пересмотрим свое мнение на ваш счет.

— За наш счет? — насторожился Фима.

— Нет, счет наш, а платить вам.

— Понял.

— Тогда тебе и карты в руки. Бери гитару, дерзай!

И Фима дерзнул.

Он отгрохал такой театр — закачаешься.

Государство не поскупилося на крупную растрату народного достоинства.

Сцена была украшена бархатным занавесом, реквизированным, как поговаривали, из княжеского особняка. Оркестровая яма забита сверхдефицитными инструментами, национализированными у свадебных лабухов. Как гласит предание, цыганское по духу, но еврейское по существу, власти не побрезговали и единственной на всю страну скрипкой Страдивари. Той самой, которую после отдали Давиду Ойстраху. С тайным желанием, чтобы ее скорее уже украли, иначе братьям Вайнерам не набрать документального материала для детективного романа «Визит к Минотавру».

Все было в цыганском театре, даже профком. Только цыган не было. Не хотели цыгане идти к Фиме в театр, чтобы петь и плясать на зарплату. Рассудили, на нее не проживешь, все равно гадать за наличман да воровать придется. Так уж лучше...

Чего по горячке не наобещал Фима бродячим танцорам, певцам и любовникам! Даже по лошади, самой что ни на есть буденовской породы, пообещал каждому, согласись лишь предстать перед своими сородичами и простым, иной масти, людом в звании заслуженного или народного артиста. И уломал-таки какую-то улично-таборную труппу, уговорил, на свою голову, понюхать, чем пахнет настоящий цыганский театр, сотканный на еврейский манер из мечтаний о равенстве за бесхозные государственные гроши.

Улично-таборная труппа пришла в театр на первую репетицию. Принюхалась к плюшу и атласу, кларнетам, скрипкам и гитарам. Спела, потрясая грудью, — «Очи черные, очи страстные...» И ушла, унеся в необъятных юбках и шароварах все, что там уместилось. А там уместился почти весь театр — и бархатный занавес, и позолоченные ангелочки из-под потолка, и всевозможные инструменты. Уволокли все, кроме званий «заслуженных» и «народных». Что им эти заумные звания, если они и без того были «в законе»!

Что цыгане оставили Фиме, кроме головной боли?

Надежду, что повинную голову меч не сечет.

Но древнее изречение — не кодекс. Им не прикроешься от перекрестного допроса.

Правосудие поступило с Фимой, как он некогда с чертом. Припечатало его лопатками к могильной земле и... И вдруг само попало на скамью подсудимых, а спустя короткий срок то ли на Колыму, то ли на Соловки. Ему верней знать куда — правосудие!

Было установлено с достоверностью, характерной для тех пламенных лет, упрямых по сгоревшим архивам, что правосудие вершили вредители. А раз это было установлено достоверно, тут же случилась перетасовка на нарах, и правосудие поменялось местами с осужденными.

Уголовники возглавили судебскую коллегия.

Воры-карманники составили новый кодекс.

Педофилы-насильники писали статьи по вопросам права и разным прочим вопросам, когда это право урезается до размеров револьверной пули.

Фальшивомонетчики заведовали неприкосновенным золотым запасом и антикварными ценностями российских музеев, пригодными к вывозу за рубеж.

А Фима? И Фима, наверное, в тот исторический момент всеобщей справедливости мандата и кулака-свинчатки мог бы сделать карьеру на юридическом поприще. Ибо он располагал с избытком основополагающими знаниями, которые требовались для этого: ровным счетом ничего не понимал в юриспруденции, кроме известной с измальства одесской аксиомы — «кто силен, тот и прав».

А силен Фима был. И стремился нерастраченную по пустякам природную силу, да и присущий ему талант отдать любимому делу — манежу.

Но и власти помнили о его силе и поставили бывшего борца-профессионала у кормила цирка. Чтобы в 1945 году, перед нападением на Японию, когда Сталину понадобилось опутать страну агентурной сетью коварного азиатского врага, снова взять его из цирка на скамью подсудимых.

Два раза с того света не возвращаются.

Фиму освободили за недоказанностью улик. Но «освобожденное» сердце не выдержало. И Фима, вытолкнутый с того света вторично, упал на перроне московского вокзала под ноги еще живых, но уже давно думающих о смерти людей. Упал, оставив после себя надежду на чудо, разорванное кожаное пальто и доброе имя, которое перекочевало ко мне, верное еврейской традиции.

В соответствии с той же традицией я уже через полгода после рождения отправился в новый вояж. Теперь в Ригу, куда передислоцировали военный завод родителей, не дав им возможности покончить с эвакуацией и вернуться на родину — к «самому синему морю».

Так я стал рижанином, а по сути, «двойным» эмигрантом.

## Глава вторая

### 1

У дедушки Фройки и бабушки Сойбы, родителей моего папы, было тринадцать детей. Все они родились до революции. После революции дети у них не рождались. После революции дети у них умирали.

### 2

Стояла осень 1952 года. Евреев а газетах называли «безродными космополитами», «наймитами Джойнта». И с намеком на пристрастие к некошерной пище слагали о них басни: «А сало русское едят».

Я был командиром отряда.

Мой отряд состоял из...

Меня, разумеется. А кто я? Я еврей.  
Лени Гросмана, разумеется. А Ленья кто? Ленья — мой двоюродный брат, и при этом тоже еврей. Но по должностному расписанию — заместитель командира отряда.  
Дальше по списку.  
Мой начальник штаба — Вова Бокалинский, украинец...  
Мой начальник разведки — Жора Потапов, русский...  
Мой начальник тыла — Толик Шимкайтис, литовец...  
Мой личный адъютант и бомбардир Эдик Сумасшедший, неведомой национальности...  
Мы никого не боялись.  
Мы ходили по Старой Риге, положив руки на плечи друг другу. И распевали: «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой».  
Но однажды...  
— Ваши врачи... — сказал мне Вовка Бокалинский, — ты знаешь? Вредители...  
А потом...  
Жорка Потапов сказал мне:  
— Слышишь? Говорят, на товарную станцию в Ошкалны пригнали эшелоны для вас. Будут выселять...

### 3

Миша Потапов, папа Жорки, моего начальника разведки, был баптист. Он любил всех на свете людей и животных. И евреев тоже.  
За эту любовь его могли посадить.  
Он работал слесарем высшего разряда в одном цехе с моим папой Аронем. Когда Миша Потапов вбегал к нам во двор — а это всегда происходило под вечер, при возвращении с работы — он хватал меня в охапку. И будто бы пугая с собственным сыном, радостно повизгивал:  
— Жорочка! Жорочка!  
Потом делал вид, что признал во мне меня самого, и говорил:  
— Обознался! Прости, Фимочка. Вы так похожи, как близнецы-братья.  
Каждый раз Миша Потапов, возвращаясь с работы, путал меня с Жоркой и обнимал на глазах у всего двора, как родного сына.  
Я считал, что он делает глупости по близорукости.  
Но бабушка Сойба сказала мне:  
— Не говори мне про глупости! Такие глупости сейчас, когда папу твоего объявили на заводе «вредителем», а нас всех «безродными космополитами», по близорукости делать не будут.

### 4

Мой папа болел. У него было воспаление легких, и он не ходил на работу. Тогда работа пришла к нему. Ему сказали:  
— Арон! Ваши баки текут.  
— Меня не было на заводе, — ответил папа.  
— Но баки текут.  
— Быть такого не может! — разозлился папа. И вместе с воспалением легких отправился на завод №85 ГВФ, во второй цех, к своей бригаде жестянщиков, которая и в его отсутствие запаивала баки не хуже, чем обычно. Иначе — просто-напросто — и нельзя было. Иначе — «вредительство» и суд, а затем десять лет тюрьмы без права переписки.  
Кто хочет во вредители? Кто хочет под суд? Кто хочет в тюрьму?  
Мой папа Арон не хотел. И никто из его бригады тоже.

Папа взял на проверку бак, который, по версии ОТК, был плохо запаян. И окунул его в «проверочную ванну» с водой.

Контрольная комиссия ждала заключения.

— Да, — сказал мой папа, — этот бак действительно течет. Вы правы.

Все облегченно вздохнули. Теперь они с чистой совестью запишут моего папу Арона во вредители, посадят в тюрьму на десять лет без права переписки и будут всю жизнь рассказывать детям, как разоблачили коварного «космополита-жестянщика», пособника Джойнта и разных империалистических разведок.

Но одного они не учли, облегченно вздыхая. Не учли они, что мой папа Арон родом из Одессы-мамы. И это не раз уже спасало ему жизнь, когда он раскрывал рот и начинал говорить, прибегая к неистощимым словесным запасам, почерпнутым у самого синего моря.

Мой папа Арон заморочил голову всей контрольной комиссии. Он наслаивал одну историю о Соньке — Золотой ручке, на другую, об Утесове, а ту на третью — из жизни Мишки Япончика и прочих урок и налетчиков. Когда же контрольная комиссия потеряла от утробного хохота достойное человеческое лицо заодно с бдительностью, сказал, погружая второй бак в «проверочную ванну»:

— А этот, вот поглядите, не течет.

— Не течет, — согласились спецы из контрольной комиссии. Им хватало и единственного бака, признанного не качественным, чтобы записать папу во вредители и посадить на десять лет без права переписки.

Но не тут то было! Промажнулись, не на того напали, простофили! Не заметили, как за общим разговором, за юморными прибаутками папа опустил в ванну тот самый первый бак, который самолично перед тем забраковал.

— Не течет? — вновь спросил он, собирая всю внутреннюю силу в кулак.

— Нет, с этим баком все в порядке! — заверили его снова.

И тогда он бабахнул кулаком по этому баку. И объяснил контрольной комиссии, чего стоит ее совесть. И подал заявление на увольнение с завода «по собственному желанию».

Однако в те времена «собственное желание» мало что значило. И начальник отдела кадров не подписывал папино заявление до 5 марта 1953 года, до дня смерти Сталина.

Пока Сталин не умер, папа все еще оставался на подозрении.

Когда же Сталин умер, подозрение во вредительстве было снято с папы. И ему разрешили уволиться «по собственному желанию».

## 5

Мы жили в Риге, в «жактовском», стало быть, «заводском» доме. Уволиться с завода — значило остаться тут же без квартиры.

Мы сидели на чемоданах. И ждали выселения.

Нам не было куда деваться — разве что на тот свет.

Бабушка Сойба спрашивала:

— Есть что-то новое насчет погромов?

Дедушка Фройка отвечал:

— Насчет погромов нет ничего нового. Сталин уже умер. А без него никто ничего не может знать.

По малолетству я не способен был проникнуться их переживаниями.

Я смотрел на них и тихо радовался.

Чему?

Радовался тому, что они живы и здоровы, а я — самый счастливый еврейский ребенок в Риге.

У меня были две бабушки и два дедушки.

Ни у какого другого еврейского ребенка в послевоенной Риге такого богатства не было...

Бабушка Ида, вторая моя бабушка, пришедшая к нам вместе со вторым моим дедушкой Аврумом, чтобы за компанию посидеть на чемоданах, говорила:

— Когда мы в Одессе ничего не знали о погромах, они все равно сваливались нам на голову.

— Ша, еврей! — ворчал дедушка Аврум. — Гинук! Тише! Не говорите так громко за погромы. Иначе услышат посторонние люди и заинтересуются. А у меня интерес видеть вас до глубокой старости без происшествий.

Дед Аврум родился в Одессе.

Дед Аврум вырос в Одессе, на Молдаванке, по соседству с Мишкой Япончиком. Они иногда встречались, говорили друг другу «здрате вам». И мой дед уходил от Мишки Япончика належке, без сапог, в тапочках на босу ногу.

Не подумайте дурного. Мой дед Аврум торговал сапогами, а Мишка Япончик был его постоянный клиент, щедрый на шутку и револьверную пулю.

Мой дед был настоян на шутке, как одесская шутка на пороже. Но он не понимал юмора, обычного, без летального исхода. Это его и губило.

В пятнадцатом году на фронте он не понимал, почему это вдруг взятый им в плен немец оказался евреем и взмолился к своему Богу, чтобы Он — Бог пленного и моего деда Аврума — покарал русского лазутчика.

Мой дед отказался допрашивать пленного. Он не хотел, чтобы Бог немецкого солдата иудейского вероисповедания покарал его «на службе Царю и Отечеству».

Немецкого солдата иудейского вероисповедания пытал во имя военной тайны однополчанин моего деда Микола Баранюк.

Микола Баранюк не был антисемитом. Наоборот, он даже любил «жида», если это был его «жид».

— Тебя, Аврум, я никогда не пустил бы в расход, — говорил моему деду Микола Баранюк, чистя свою трехлинейку. — Потому как ты жид мой. А немецкого жида я завсегда расстреляю в охотку. Потому как он жид вражий.

Мой дед по безысходности верил Миколу на слово и думал, что для него — жида своего полка — лучше грудь в крестах, чем голова в кустах.

В шестнадцатом году он не понимал, почему его, раненого в бою солдата, не желает лечить военфельдшер Приходько. Мой дед Аврум стоял перед ним в походном лазарете, держа на весу простреленную в локте руку. Боль накатывалась на него волнами и отступала вслед за огненным валом на поле боя, затихая после очередного залпа орудий. Ему, истекающему кровью, трудно было уразуметь меж обморочных приступов слабости, что военфельдшер Приходько не из его полка, и посему «гуляй, откуда пришел», — категорично, обжалованию не подлежит.

Мой дед не принимал дурацких шуток. Лево́й, невредимой рукой он схватил табуретку и обрушил ее на голову военфельдшера Приходько.

И они легли рядом, в обнимку, побратавшись кровью, чтобы потом, по завершении наступательных операций, принять на госпитальных койках награды за ратные подвиги из рук высочайшего начальства из царевой свиты.

В семнадцатом году мой дед Аврум не понимал, почему отныне его враги — не супостаты-немцы, а евреи, они же большевики. Он слушал речь какого-то поручика Мюллера, присланного для агитации из Петербурга, и никак не мог уловить связи между врагом внешним и врагом внутренним.

Внешнего врага мой дед знал в лицо с четырнадцатого года. Из своего винтаря он вылил ему ведро крови.

Внутреннего врага он не знал. О большевиках, правда, кое-что слышал. Из анекдотов. А что касается евреев, то хоть Меер Завец и обжулил его на толчке, все равно по вредности своей гадючьей он не шел ни в какое сравнение с немцем.

В результате внутренней неразберихи дед по подсказке большевиков воткнул винтовку штыком в землю и вернулся в Одессу — торговать сапогами. На толчке он встретил Меера Завца, и они помирились, чтобы рассориться вновь. Меер Завец, полномочный представитель новой власти, стал комиссаром торгового ряда и назвал моего деда «нетрудовым элементом».

Мой дед Аврум не понимал таких словесных новшеств. Он продавал сапоги. И считал, что его семья живет на трудовые доходы.

Но Меер Завец сказал ему — «нетрудовой элемент». И Меер Завец получил по зубам, чтобы щеголять согласно своей высокой должности золотой коронкой.

Видя такое дело, чекисты поставили моего деда к стенке, чтобы он не распускал больше кулаки. В это время, словно спеша ему на выручку, белогвардейцы прорвали фронт. И советская власть скоростижно постановила, что для бывалого солдата будет лучше, если он встанет под пули врагов, а не под пули братьев по классу. Мой дед Аврум кликнул своих корешей с базара. Те кликнули дружков-налетчиков с Молдаванки. И полк городской бедноты выступил на фронт, чтобы прикрыть дырку от бублика своими молодыми телами, пахнувшими червонцами, водкой и нерастроченной на пустяки жизненной потенцией.

Полк городской бедноты прикрыл собой дырку от бублика и стал резаться в карты, ставя на кон жизнь белых офицеров. Но те заблудились в степях и не попали под ружейно-пулеметный огонь. А полк городской бедноты, проигравшийся в пух и прах, снялся с фронта и пошел обратным порядком в Одессу на работу — поворовать, пограбить.

Меер Завец собственноручно расстрелял командира и комиссара полка, бывших до принятия героической смерти ворами-рецидивистами. А когда он перезарядил пистолет, оказалось, что весь полк рассосался уже по толчку, портовым пивным и малинам, куда пулей не достать, если сам не хочешь быть ненароком убитым.

Меер Завец не хотел быть ненароком убитым. Он хотел дожить до светлого завтра, когда уже будет наконец построено общество справедливости, а в сортире, на улице Средней, где он родился и вырос, возведен золотой унитаз, символ достигнутого за счет равноправия всех трудящихся изобилия.

Но Меер Завец не дожил до торжества гуманистических идей, как и его предшественник с голым от умственного перенапряжения черепом, как и предшественник его предшественника, наделенный львиной шевелюрой.

И золотые коронки Меера Завца пошли на золотой унитаз для какого-то другого идеалиста с маузером, а сам он пошел в Соликамск на лесоповал, куда до этого, осенью 40-го, сослал моего деда с одесского толчка.

Он повстречался с дедом моим на лагерной делянке, дающей 1000 % подневольной выработки древесины. И сотоварищи-уголовники, приветствуя такую закономерную встречу обвинителя с подсудственным в местах не столь отдаленных, умело обрушили на них — евреи ведь! жида! — подрубленное дерево.

У Меера Завца, раздавленного могучим стволом, была всего минута, чтобы, помолвившись, тихо испустить дух, но он во весь голос изливал хулу на моего деда, называя его бандитом. И уголовники засовестились в содеянном, признав инвалида Первой мировой войны за своего, социально, так сказать, близкого — «даром что еврей, божий человек все же». Несколько верст тащили его на волокуше по глубокому снегу, пока не добрались до лагерного медпункта, где к переломанной ноге старого солдата прибинтовали стопу задом наперед. Нога срослась неправильно. И он стал

заново учиться ходить, чтобы искать правду. Естественно, что, хаживая таким образом, правду в концлагере он не нашел. И посему попросился добровольцем на фронт. Благо, война уже была в самом разгаре, причем со старым его знакомцем — с внешним врагом.

Простреленной на Первой мировой рукой дедушка Аврум писал заявление на Вторую мировую.

«Чем такая жизнь, готов ее бесплатно отдать за товарища Сталина — на разгром врага!» — писал он не совсем грамотно, притоптывая от нетерпения изувеченной на лесоповале ногой.

Просьбу его уважили, изможденного добровольца направили на медицинское освидетельствование. Однако врачам он не приглянулся. Калека. И вместо фронта они выправили путевое предписание на Урал, на поиски его, эвакуированной из Одессы семьи.

По прибытии в Чкалов (Оренбург) дедушка Аврум заковылял на местный базар. И там спросил громко у озабоченного куплей-продажей люда:

— Я имею интерес узнать, если есть на этом толчке евреи из Одессы?

— Из Одессы? Есть тут евреи из Одессы! Я сам буду из Одессы,— откликнулся мой папа Арон, наигрывающий на трофейном аккордеоне фирмы «Хоннер» фрейлехсы собственного сочинения для развлечения задолбанной ценами публики (буханка хлеба — месячная зарплата). Вечерами и по выходным, после двухсменной работы жестянщиком на военном заводе, чтобы не помереть с голоду вместе с семьей своей и дедушки Аврума, он концертировал у торговых рядов и подрабатывал на жизнь музыкой.

На следующий день дедушка уже работал вахтером на «папином» 245-м авиационном заводе, который в 1945 году вместе с приписанным к нему крепостным народом ударников соцтруда был передислоцирован в Ригу, где стал называться «Завод 85 ГВФ». Так мои одесситы стали рижанами. Что говорится, подневольно оказались в новой эмиграции.

### Глава третья

Звезды витают в небе. Но поди отыщи их в земле.

Мы находили свои звезды в земле — на развалке: второй этаж разрушенного войной ювелирного магазина, в пятидесяти шагах от моего дома на улице Аудею. Хитрости здесь никакой. Терпение, острый глаз да выработанная сноровка — вот и все! Прихвати нос пальцами, дыши через раз, чтобы не давиться кошачьими запахами, и — валяй, присев на корточки. Как — «валять»? А очень просто! Обзаведись заточенной щепкой и распахивай лежалую, покрытую цементной пылью землицу, выковыривай — ну, чисто археолог! — потаенные ее сокровища. Сапфиры? Может быть. Яхонты? Вполне возможно. Камешки были разные. Но мы разбирались только в янтаре и бисере. Впрочем, и такого знания достаточно для тонконогих — ребра наружу, руки в карманах — свистунов-фантазеров.

Что нам людские ценности — сапфиры, яхонты? Внешности они представительной, но формы неправильной: продолговатые, либо квадратные. Меткости от такой формы в них, как от козла молока. Никакой! В рогатку вложишь, обязательно промахнешься. А что для рогатки лучше всего, так это облизанный до матового сияния кругляк янтара — самая классная на свете бусина! Спросите, причем же тут бисер? Отвечу. Бисер — да, не дорос по размеру еще до рогатки. Стрельнешь, а ветер слизнет этот «птичий глазок». Так что, имейте в виду, бисером мы не стреляли, хотя и выгребали его на развалке. Он был нужен моей тете Фане. Не просто тете. И не просто Фане. А знаменитой на весь мир артистке цирка Фаине Гаммер. На афишах ее

порой называли и Фаина Гомер, чтобы все думали, будто она произошла не от моего дедушки Фроима Гаммера, и не у самого синего моря — в Одессе, а от великого поэта древней Греции, автора «Илиады» и «Одиссеи», где-то на заграничном острове Итака. Бисер нужен был моей тете Фане для «создания» артистического платья. Согласитесь, выступать на арене цирка без артистического платья было неприлично. В особенности, если у вас — музыкальный номер, с лилипутами в придачу. А где его возьмешь, артистическое? В магазинах оно не продается. На базаре тоже. А вот если накопать на развалке пуд бисера да нашпиговать им длиннополое одеяние свое, то тогда все, даже на галерке догадаются, платье у вас и впрямь артистическое — сверкает и переливается всеми цветами, как радуга.

Тетя Фаня «создавала» платье из радуги, мы поставляли ей мелкую бусину и твердо знали: за труды свои отоваримся контрамаркой в цирк. При этом прибыль от развалки не ограничивалась этим знанием. В скрытых под землей хранилищах мы обнаруживали невзначай и вещицы, превосходящие в нашем понимании бисер, жемчуг, янтарь. Что? Керамические изделия, различные побрякушки, изредка даже бронзовые подсвечники.

В наших руках ничего не пропадало. Бисер шел на платье. Янтари на рогатки. Подсвечники и всякий-разный «лом цветного металла» — в утиль.

Что такое «утиль»? Это лавка с надписью печатными буквами на дверях «СКУПКА УТИЛЬСЫРЬЯ». На улице Малая Калею, в Старой Риге, шестьсот девяносто пять шагов от моего дома и шестьсот сорок семь шагов от развалки. Утильщик, человек лет пятидесяти, грузный, с вислым носом и подстать ему животом, утиль, само собой, не собирал. А что же он делал? Он его взвешивал на весах, мастеренных под платформу, потом покупал. За это получал зарплату, а мы — наши копейки, что рубль берегут, если сразу же не потратить их на мороженое, а сберечь на билет в кино.

К утильщику мы наведывались не только с развалки. И не обязательно с подсвечниками. Мы собирали все: ржавые болты, гайки, куски кровельного железа, трубы. Однажды доволокли даже до лавки батареею центрального отопления. Удивительно, в том 1952 году еще ни у кого в Старой Риге не было в наличии центрального отопления, а батарея — раз! — и почему-то нашлась в одном из подвалов. Удивительно, но факт жизни! Такой же факт, как и то, что по неведомой нам странности утильщик в основном «жаждал» получить от нас «лом цветного металла» — разбитые рамы от зеркал, бра, фигурные безделушки и всякое такое. Этого он «жаждал» намного больше, чем что-нибудь другое. И мы «жаждали». Он — латунь и бронзу. Мы — мороженое и билет в кинотеатр «Айна». За рубль пятьдесят. В первый ряд, где никакая башка не заслоняет экран, и смотри себе, восхищайся: фильм мировой, из трофейных — «Дилижанс». Дядя утильщик говорил нам о своей жажде. Мы ему о своей. И чтобы напрасно «не жаждать», искали и находили.

Это добро — латунь, медь и бронза — валялось повсюду. Нет, конечно, не на открытых местах. Не обязательно на улице или в сквере. Подчас и в укромных уголках — на чердаке, в кладовке, в схроне каком. Поищи и найдешь!

Мы умели искать. Глаза как рентген. Руки как щупальца осьминога. Мы находили «лом цветного металла» везде, чтобы за день — за два поднакопить гривенников на рубль с полтиной и — «айда в кинчик!». Мы смотрели все подряд фильмы, и трофейные со стрельбой, и наши про «мичуринские яблоки». И все это благодаря цветному металлу! Однако, хоть и много было его по весне, к концу летнего киносезона он стал исчезать с наших горизонтов. Мы подскребывали его, подскребывали, да и выскребли чуть ли не подчистую. А его снова не «выбросят». Как, скажите, прорваться тогда на сеанс? Ведь в анонсах обещают классную картину — «Индийская гробница». Тащить утильщику снова батарею центрального отопления? Но она из

металла дешевого — чугуна. Да и где ее второй раз отыщешь? Кроме того, и «зряплата» — копеечная. Приволочь утильщику неразорвавшийся снаряд? Наругается — выгонит, и вообще фига заплатит за нервное потрясение. А в кино хочется! Без кино — невозможно. Невмоготу! И тут еще на носу, со следующей недели, фильм — сдвинуться можно! «Остров страданий». Про пиратов Карибского моря. По роману «Одиссея капитана Блада». А в кармане — воздух, хоть зубы на полку. Вот тебе и «жизнь копейка — медный грош, дальше гроба не уйдешь». Хоть разбейся, но надо «дальше». В кинчик, где морские разбойники — один глаз в повязке, второй в бертолетовых искрах ненависти — рвут абордажными крючьями корабельное дерево, прутся на корабельную палубу, машут саблями и лезут в трюмы, где вповалку кучи монет и всякого рода безделушек. Этакая груда бесхозного цветного металла! При сдаче утильщику, пожалуй, хватило бы им на билеты для всей бандитской команды.

Нам такое пиратское счастье чихало в лицо: «апчхи на вас, карапеты!». А ведь и мы готовы повязать один глаз черной ленточкой из косички моей старшей сестры Сильвы и рубиться до потери пульса на саблях, лишь бы поглазеть на себя в кино. Поглазеть и, толкая локтем соседа, сказать ему по секрету: разуй глаза, пацан. Гляди, это мы там, на экране, балуем. Я, Ленька Гросман, Жорка Потапов. А самый старший по виду — это Эдик Сумасшедший, мой адъютант и заодно наша дальнобойная артиллерия. Круче всех камни бросает в «рыжих». Но как и кому сказать, когда на халяву в кино не пускают. А в карманах, догадаться нетрудно, гуляет сквозняк, потому что в Старой Риге обнаружилась полная нехватка «лома цветного металла». Как же быть? Как обогатиться билетом, если истощилась наша кладовая?

Казалось бы, если нет «лома цветного металла», значит, и решения нет. Однако одно «нет», входя в конфликт со вторым, дает в результате «да», как «дважды два — четыре». Именно — четыре! Именно — четыре, а не пять, было у нас перстеньков из цветного металла, желтого, подобно яичному желтку цвета. И каждый увенчан продолговатым зеленым или красным камешком, не годным для меткой стрельбы из рогатки. Перстеньки были как новенькие, хоть и выгребли мы их на развалке еще весной. Вот это нас и смущало. «Как новенькие...» А новенький цветной металл утильщик не принимает. Ему нужен старенький, на его языке — «лом». И мы решили превратить перстеньки в «лом цветного металла». Стоит выковырять из них камешки, и, пожалуйста, дело сделано: уважаемый утильщик, мы вам загоняем «лом», а вы нам гоните монету.

Утильщик укладывал наши перстеньки, разумеется, уже не на весы, а на свой верстачок, жестью покрытый. И глазом в нашлепке с увеличительным стеклом клевал их — зырк-зырк! — подобно игрушечному ювелиру с витрины магазина «Детский мир». Поклюет глазом в нашлепке, на нас посмотрит вторым, без нашлепки.

Поклюет глазом в нашлепке, опять зырится на нас. Хочет что-то сказать, да не смеет. Наконец рот открыл, стальной зуб показал.

— Хороший металл. Правда, не совсем «лом»...

— «Лом-лом!!!» — восклицали мы, боясь прогадать при оплате.

— Пусть будет «лом», — вздохнул утильщик. — Может, еще есть?

— Найдется, дядя, если не обманешь.

— Вас разве обманешь? Рубль за штуку. Приносите еще. Такие штуки в нашем утиле принимаются без ограничения.

— Даже, если не совсем «лом»?

— Даже! Даже! Более того...

Но что «более того» он так и не проговорился, боясь, видать, прогадать. Небось, потребуем от него за «более того» уже не по рублю, а по трешке.

Но по трешке мы от него не требовали. Мы вообще от него ничего не требовали.

Что давал, то и получали. На кино да мороженое хватало, и ладно! Так и жили. И все было хорошо, пока не выяснилось, что при «хорошо» где-то поблизости присутствует «плохо». Как же выглядит это «плохо»? И где его искать? Искать не далеко. Оно в моей же квартире, в соседней комнате — на артистическом платье тети Фани. На груди. И выглядит вроде черной проплешины-островка в переливающемся всеми цветами море сплошного бисера. Произошла эта неприятная история из-за того, что развалка-кормилица истощилась на залежи искрометных стеклянных драгоценностей. Как ты ее землю, присыпанную цементной пылью, ни взрыхляй, она ни в какую не цветет фиолетовой искрой. Янтари — будьте добры! Колечки — нате вам! А бисера, извините, нема! Но как нам без бисера, когда без бисера нам никак нельзя? Будет у нас бисер — появятся контрамарочки. И вперед, в ложу! Чтобы потом во дворе не играть лишний раз в разбойников и пиратов. А попробовать себя на роли фокусника, жонглера и, главное, клоуна.

Кто не желает быть клоуном? Выйди наружу, дай на себя посмотреть.

Ну да! Тупой как пробка! А клоуном быть, это... Это почти то же самое, что схватить за хвост Жар-Птицу и выдернуть зараз дюжину перьев, должно быть, из цветного металла.

О, Жар-Птица! Жар-Птица! Кто бы знал, но на развалке водились и Жар-Птицы. Но не живые. С приколкой, чтобы носить на одежде. Были они подобны картинке из сказочной книги Бажова — позолоченные лепестки на хохолке, серебряный клюв, грудка из наборного камня и малахитовые перья — сантиметров по десять.

Чем такая птица — не заменитель для бисера? Посадишь ее на грудь — и красуйся на арене: никто не разглядит проплешины-островки на артистическом платье.

— Никто не разглядит! — уговаривал я тетю Фаню, вручая ей Жар-Птицу с развалки.

Уговаривал и уговорил

Тетя Фаня приколола Жар-Птицу на платье, и...

И мы кричали — «бис!», кричали — «браво!» Тете моей, знаменитой артистке цирка Фаине Гаммер. И кричали «браво» ее великолепному платью, «созданному» из нашего бисера и увенчанному нашей Жар-Птицей.

А сидели мы не на какой-то галерке-верхотуре, там сидели, где наши крики особенно громко слышны — в ложе для приглашенных гостей цирка. В ложе, где кресла панбархатные и мягко пружинят, как будто они на рессорах. Нам было радостно и до ужаса приятно. Что приятно? То, что мы — умы, а другие, кто не с развалки, — «увы». Мы умы, они «увы», а цирк у нашей тети Фани — классный, настоящий первый сорт!

Вот так! На этом и следует поставить точку. Ничего человеку больше не надо, если сидит он в цирке, не где-нибудь, а в ложе, и на арену вытанцовывает клоун, самый смешной на свете. И когда он слышит, что голос клоуна вызванивает цветным металлом, и в звоне этом различается: «Внимание! Внимание! Провозглашаю заранее! Слушает Германия и Советский Союз! Выступление на грани всего Мироздания с включением Развалки и Служителей Муз!»

Звезды витают в небе.

Мы свои звезды отыскивали в земле. На развалке.

Были умными — жили...

#### Глава четвертая

В начале сентября 1965 года нас, солдат спортивной роты Первой гвардейской танковой дивизии, подняли по тревоге. Задача: скрытно перебраться на противоположный берег Немана и разгромить «вражеский» штаб.

Темная речная вода с мелькающими на поверхности небесными звездочками. Дальний берег, угадываемый по сигаретным огонькам. Плеск загулявшей рыбины. Фырканье утомленного пловца. Цветовые сполохи, шальные звуки, роняемые в полнотную тишину. И настороженный выкрик:

— Эй, кто там?

Никто не отзывается. Да и как отозваться? Тут же в «плен» заграбастают. И без того, судя по возгласам, уже с десятков наших десантников попались в лапы противника, и теперь, скорее всего, лопают кашу из полевой кухни, в ожидании «подкрепления» — то бишь меня, Валдиса Круминя, сержанта Кары и гвардии рядового Мамедова. Но врагу не сдастся наш гордый «Варяг», и мы, благополучно миновав хитроумно поставленные капканы, выбрались на противоположный берег, имея в наличии для прикрытия своей наготы лишь по паре трусов. Зрелище восхитительное. Четыре мудака прыгают на одной ножке, вытряхивают из ушей чужеродную влагу и хило чертыхаются, не имея возможности согреться по-другому.

— Лучше бы в плен! — ознобло постукивал зубами Валдис Круминь.

— Чего же? — спросил я, учащенно дыша в совочек ладоней — для согрева.

— А ты?

— Мне нельзя. Я еврей.

— Понятно, «евреи воевали в Ташкенте». Это?

— И еще, евреи не знают с какого конца заряжать оружие.

— С обрезанного! — хохотнул сержант Кара.

Обладатель устрашающей фамилии, отнюдь не соответствующей ни внешности, ни жизненным его убеждениям, был из какого-то молдавского села. По национальности нам не знакомой. Говорил, что он для молдаван такой же национальности, как еврей для украинцев.

— У меня тоже обрезанный, — сказал Хуся Мамедов.

— У мусульман это болезненнее, — заметил я, приплясывая на холодке. — У нас на восьмой день от рождения, когда ничего не помнишь. У них на тринадцатый год жизни, когда — о-го-го!

— Никакого «го-го-го», — насупился гвардии рядовой. — Мамедов слушал, Мамедов говорит: «мужчина боль терпит, такой он — мужчина!»

— Ладно вам, — сказал сержант Кара. — Пока вы разберетесь, у кого правильной обрезано, я схожу на разведку.

Палец к губам, чтобы лишнее не гундосили, и тишком в кусты, из кустов на тропинку, с тропинки в лес, и затерялся в штриховке стволов.

Мы уселись на травку и давай пошлепывать себя по плечам, животу, спине, охотясь за комарами. Коварные кровопийцы, пронюхав о нашем беззащитном телесном содержании, с настойчивостью сексуальных маньяков лезли в самое что ни на есть уязвимое место — под трусы. А это вызывало взрыв нашего негодования, но шуметь было нельзя. И я на скоростях придумал юмористический стишок, чтобы высвободить энергию негодования в подобие смеха:

— *Комары летят на свет.*

— *Вы поэт?*

— *Да, я поэт.*

— *Мы вам сделаем минет.*

Валдис взгрустнул:

— Таки они нам это сделают. Потом в приличном обществе не покажешься.

— Идем в воду, — подсказал я.

— Зачем в воду? — удивился Хуся Мамедов.

— Там теплее.

— Ага,— догадался гвардии рядовой.— Погрузим себя по шейку, комарам кушать ничего не дадим.

— Кроме мыслей у нас на макушке.

— Мои мысли ниже,— Хуся Мамедов постукал себя по виску.

— Насчет сержантских лычек?

— Иначе девки любить не будут. Одна, вторая, третья — никто не пойдет замуж за гвардии рядового.

— А за гвардии сержанта?

— За гвардии сержанта Мамедова пойдут все три.

— Разом?

— Сразу.

— Тогда правое плечо вперед, и на речку. А то эти кровососы сделают так, что жениться будет не с чем,— сказал Валдис Круминь.

Плашмя возлегли мы на мелкоте, и время от времени уходили с головой под воду, обманывая кулинарные изыски зудящего комариного племени.

Передислокацию свою, как выяснилось через пару минут, совершили в самый подходящий момент.

По берегу продвигался дозор наших противников.

— Слышал плеск?

— Слышал.

— Здесь?

— Нет, где-то там, у излучины, шагах в десяти.

— Опять выдают себя, суки! Словно специально!

— Да ты что не понимаешь? Прибалты. Латыши, литовцы, эстонцы. В плен норовят. Хера они тебе будут воевать за советскую власть.

— А ты будешь?

— Я не прибалт. У меня другой родины нету.

— Родину не выбирают.

— Понятно. Но есть большая и есть малая.

— Какая у тебя малая?

— Гнездовище.

— Что это?

— А это деревня, в иркутской области. Наших туда с Украины привезли, угнездовали там, когда дедов раскулачивали.

— И что?

— Да ничего! Деды вымерли, мамки остались. Папок, как и родину не выбирают. Там и уродился — половина бурят, половина украинец, по паспорту — русский. А ты с какой родины?

— У меня и малая — большая. Я из Москвы-матушки.

— То-то радовался, что попал к нам — в Первую московскую дивизию.

— Попал, как с родины — на родину.

— Родину не выбирают...

Я переглянулся с Валдисом. Он мне хитро подмигнул, как бы намекая таким телепатическим образом, почему не сдается плен, хотя и прибалт. То, что он советскую власть не любил, было ясно и без распросов. Но парень был не дурак — с высшим ВГИКовским образованием, и теперь, что говорится, набирал впечатлений для будущего фильма, заявку на который, уговорив меня писать сценарий, уже отослал на Рижскую киностудию.

Я был полон сомнения: напишу ли, что требуется. С самого начала службы набегал непроходной материал. Как выяснилось, официально в Советской армии не су-

ществовало понятия «спортрота», и упоминать об этом категорически запрещалось. Первое же письмо, полученное мной из дома на адрес воинской части № 18885, с припиской «спортрота», попало в Особый отдел, и меня вызвал на собеседование капитан Умнихин.

— Фамилия? Гм... Немецкая? Эмигрант?

— Дана по профессии. Русскими буквами на немецком языке — Одесса-мама!

— Имя? Гм... Русское?

— Назван в память о дяде, погибшем в 1945 году.

— Проверим, проверим и уточним. Отчество?

— Аронович!

— Гм... Еврейское. Полный интернационал в одной упаковке. А национальность?

Пишем или скрываем?

— Почему «скрываем»?

— Многие из вас так и остаются у нас скрытыми эмигрантами, при этом переименовываются на русский манер, чтобы незаметнее было.

— Что «незаметнее»?

— А то, что сало русское едят.

— Евреи сало не едят.

— Проверим, проверим и уточним.

— Вы меня за этим вызывали?

— Мы вас вызывали по другому вопросу. Почему на адресованном вам конверте представлено полное раскрытие военной тайны?

— Какой?

— Не стройте из себя форменного недоумка! На конверте обозначено «спортрота». А воинская часть с таким обозначением официально нигде не значится. Следовательно...

— Что?

— Не разумеете? Вы даете врагу представление о дислокации наших секретных частей.

— Никакому врагу я ничего не даю! Это я папе с мамой сообщил, что нахожусь в спортроте. Вот они и пишут на конверте — «спортрота», для надежности. Иначе, полагают, не дойдет.

— А номер воинской почты?

— Мои родители из Одессы.

— Какое это имеет отношение к делу?

— Прямое. В Одессе все про всех знают. И никто не станет доверять письмо безликому адресу из сплошных цифр 18885. Это все равно, что писать «на деревню дедушке». Вот и пишут — «спортрота». Воинских частей в Калининграде много, а спортрота одна.

— Видать, в армии ваши родители не служили.

— Во время войны работали на военном заводе, 245-ом авиационном, в Оренбурге, тогда Чкалове.

— Проверим, проверим и уточним. Почему не в Ташкенте?

— Ташкенте? А-а...

— У вас в роду, наверное, вообще такая традиция — косить от службы, не так ли?

— С чего это вдруг?

— А плоскостопие?

— Какое?

— Ваше!

— Оно врожденное. Годен к нестроевой.

— А служите — где? В элитной боевой части! В спортроте!

— Вы только что говорили, что спортрота нигде не значится.

— Спортрота не значится. А вы значитесь. И значитесь нестроевым в секретной боевой части, куда нестроевых и за километр не подпускают. Как это так у вас получилось?

— Я чемпион Латвии и Прибалтики по боксу.

— С плоскостопием?

— С плоскостопием!

— По бумагам?

— На практике!

— Хорошо. Тогда взгляните на сопроводительную к вашей истории болезни. Вы из-за плоскостопия освобождены от занятий строевой подготовкой, марш-бросков и физкультурных нагрузок на ноги. Какой же вы чемпион по боксу, если прибыли в армию с освобождением от занятий физкультурой?

— В бумагах одно, на практике другое.

— Проверим, проверим и уточним.

— Я могу быть свободным?

— А не сбегете без спросу от ответственности?

— Какой?

— За разглашение.

— Куда мне бежать?

— Не — «куда». А — «откуда». Мы тут одному дезертиру дали сейчас на всю катушку.

— Мы из армии не приучены драпать.

— Кто это «мы»? Ваши в тылу окопались, когда наши кровь проливали.

— И наши кровь проливали.

— Поименно.

— Всех перечислять не буду... Ну, допустим Леня и Моисей Герцензоны, мои двоюродные братья. Леня погиб на Балтике, в сорок первом. А Моисей и сегодня служит.

— Где?

— В штабе Закавказского военного округа. В прошлом командир роты, батальона. Звание — подполковник. Боевой офицер, прошел всю войну, награжден многими медалями и орденами.

— Проверим, проверим и уточним.

А что там уточнять?

Мне достаточно было повернуться лицом в прошлое.

## Глава пятая

У смерти нет лица...

Тот, кто видел смерть, не изобразит ее на бумаге.

Тот, кто не видел смерти, изображает ее скуластой девушкой-дурнушкой с бритвенно-острой косой.

Мои двоюродные братья Леня и Моисей Герцензоны видели смерть неоднократно. Но как она выглядела, мог мне рассказать только Моисей. Леня — моряк-подводник — погиб на Балтике, в разгар войны с фашистами, еще до моего рождения. И по сей день он с экипажем подводной лодки покоится на дне моря. А с братом его Моисеем я встречался и в Риге, и в Иерусалиме. Но первый раз в сорок шестом — в Баку, когда меня, годовалого, возили по дальним и ближним родственникам-

одесситам, разбросанным в годы НЭПа и войны по разным землям. Вот, наверное, тогда и рассказал подполковник Моисей Герцензон эту историю моему папе. И этой истории следовало бы дать подзаголовок — «из семейных преданий».

\* \* \*

Моисей Герцензон знал, как выглядит смерть.

Смерть смотрела на него из ствола «шмайсера», из ствола базуки, из ствола «тигра». Но пронзительно, как никогда, — аж до озноба в костях — смерть смотрела на него с кончика канцелярского пера.

Что для солдата канцелярское перо?

Шекспиру оно, пожалуй, пригодилось бы для сонета.

А солдату? Даже любовное письмо и то сподручнее между боев писать карандашом.

Никто себе не выбирает смерть. И, когда смерть смотрит с кончика канцелярского пера, она не становится от этого милее.

...Выездной военный трибунал приговорил Моисея к расстрелу.

...Выездной военный трибунал постановил: «Приговор привести в исполнение немедленно!»

За двадцать четыре часа до приговора Моисей Герцензон мог быть убит сто раз. И все сто раз смерть промахнулась...

Он вел разведку боем. С танковым батальоном врезался в глубину вражеской обороны и, вызывая огонь на себя, утюжил траншеи противника.

Он выполнил поставленную перед ним задачу. Он принял на себя все девять валов расплавленного свинца, раскрыл позиции неприятеля.

...Он, командир отряда, выполнил поставленную перед ним задачу. И ради выполнения этой задачи положил десятки людей, как и предписывается законом войны, облаченным в словосочетание — «разведка боем».

Может быть, и ему предписывалось законом войны не вернуться с поля боя. Однако, судьба человека живет по иным законам.

Ни одной царапины не было на его теле. И пуля, и осколок, словно сговорившись, тоже вышли из подчинения закону войны.

Из разведки боем живым возвращается разве что счастливчик.

Более сотни счастливчиков сходили с ума от полноты жизни.

Их приговорили к смерти. Они обманули смерть. И вернулись с того света живыми.

Как же после этого не жить? Им очень хотелось жить. И они пили горькую. Из фляжек. Взахлеб. Они поили водкой каждого, попавшего живым и здоровым в расположение их батальона. Мужиков, баб деревенских, ребятишек — пожалуйста! Пей до дна! Пей до дна! Жизнь не задарма дана!

В расположение хмельного батальона каким-то хмельным ветром задуло пришлого майора интендантской службы. Зачем он прибыл сюда, черт его знает. То ли на переучет контузий и ржавых от крови бинтов, то ли ради переписи котлет из говяжьего мяса.

Напоенный братишками, он направился в штабную избу, к комбату. А разглядев в комбате еврея, опьянел вторично — от переизбытка антисемитских чувств. И стал скрюченными пальцами лапать кобуру с наганом.

— У-у, жидовская морда! Сколько людей положил, а сам? живой-невредимый! Нет, считаешь, на тебя управы?

Моисей еще не остыл от потери близких друзей. Разве мог он в столь размагниченном состоянии духа уследить за движением правой, «ударной» своей руки, преж-

де при слове «жид» бьющей обидчика наповал, а сегодня выхватывающей пистолет, и навскидку...

Заседание выездного военного трибунала проходило при закрытых дверях, в деревне — тридцать дворов, полсотни баб и ни одного здорового мужика моложе пятидесяти.

Пока зачитывали приговор, пока доходяга-расстрельщик вставлял на трезвую голову обойму в ненавистный винтарь, пока смерть витала на кончике канцелярского пера, солдатский телеграф донес до бойцов похмельного батальона сердечную боль своего командира.

Сто с лишним смертников, пьяных, бесстрашных, обмотанных грязными бинтами, двинули танковым ходом по деревенскому большаку — на мордастый трибунал и замурзанного, как его трехлинейка, расстрельщика, чертыхающегося от безысходной трезвости.

«Моисея в расход? — ревел батальон в сто с лишним глоток. — За какого-то зачуханого тыловика? Дашь разведку боем!»

Порушенные избы притихли. Бабы попрятались до лучших времен по чуланам, где берегли последние запасы самогона.

Военный трибунал понял, что подписал себе смертный приговор.

Старшина Ковальчук, держа в перебинтованной руке трофейный «парабеллум», вошел в пропахшую чернильным душком комнату.

— Мы не отдадим на съедение!.. — Он покривился от боли. — Кто хочет смерти нашего боевого командира, тот найдет себе братскую могилу! Немцы его не съели — подавились! А вы?..

Полковой писарь с фиолетовыми кляксами на зеркалах его души переписал под прицелом пистолета протокол заседания выездного военного трибунала. И не было в чистовике приговора слова «расстрелять», было — «понизить в звании, с капитана до старшего лейтенанта».

Деревенские бабы, дождавшиеся лучших времен, отпаивали солдат от перенапряжения самогонкой.

Моисей пил из походной фляжки водку во здравие, не за упокой. И расстрельщик лез целоваться с ним во имя сбережения боезапаса, дефицитного на войне, как и жизнь.

Расстрел отменен! Расстрел отменен!

И?.. Вторая, стихийная по сути, разведка боем завершилась ночью обильной любви.

Любовь была всепоглощающей и настолько страстной, что и годы спустя после этой ночи, почитай, лет десять кряду, местные бабы вываливали из своих бездонных утроб голосистых писулук — солдат грядущих сражений — и, поминая привалившее невзначай счастье, нарекали их... Да-да, Моисейчиками... Нарекали их именем, самым популярным в одном из глубинных районов России.

Каком? Нет, район мне нельзя называть. Это военная тайна...

Но не тайна, что Моисей Герцензон прошел всю войну и был награжден многими орденами и медалями. Затем командовал батальоном, служил в штабе Закавказского военного округа, в 1957—58 годах под началом маршала К. К. Рокоссовского. А, выйдя в отставку в звании подполковника, долгое время, подав документы на выезд из СССР, находился в отказе.

Когда же мы с ним встретились в Иерусалиме, он после похода к Стене плача рассказал мне о своем первом бое, легендарном, без сомнения, для всех тех, кто знаком не понаслышке с историей Второй мировой.

...Личный состав военного училища, курсантом которого был Моисей Герцензон, подняли по тревоге. Перед строем молодых солдат, еще необстрелянных и оттого до

ужаса храбрых, выступил прибывший из Москвы, из самого Генштаба, генерал. Он сказал, что на их долю выпало ответственное и исключительно почетное задание. Но на его выполнение вызываются лишь добровольцы.

— Есть добровольцы?

Строй курсантов молча шагнул вперед.

— Кто из вас прыгал с парашютом?

Строй курсантов сделал второй шаг... по сути дела, на тот свет и к бессмертию, наверное. (Никто из них никогда не прыгал с парашютом.)

Задание Генерального штаба сводилось к великой по дерзости операции. Высадиться на Эльбрусе, согнать с вершины егерей отборной немецкой дивизии «Эдельвейс», установивших там бюст Гитлера, и на смену ему впечатать в снег бюст Сталина.

И это задание — невероятно, но факт! — было выполнено мальчишками, не нюхавшими пороха, часть из которых погибла сразу же из-за неумения раскрыть парашют, другие разбились об острые уступы каменных склонов, третьи истекли кровью от ранений при штурме огневых точек и горных гнезд противника. И лишь малая горсточка бойцов, среди них и Моисей Герцензон, добралась до гитлеровского бюста и, сбросив его в пропасть, установила вместо него, на тот же, скажем так пьедестал, бюст Сталина.

Лишних Сталинов, а их у каждого было по одному в рюкзаке, сдавали под расписку о «неразглашении» командованию училища. И получали взамен кубари в петлицы и, после досрочного производства в краскомы, право на отбытие в действующую армию.

Кто из них, из этой горстки храбрецов остался в живых?

По теории вероятности, может быть, один из...

Моисей Герцензон был одним из.....

Всю войну.

Его брату Лене Герцензону, краснофлотцу-подводнику, выпал иной жребий.

На войне как на войне...

*(Окончание следует)*



**Игорь Карлов**  
(г. Мапуту, Мозамбик)



## ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

*Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.*

Весь день просидел за письменным столом, стараясь закончить к назначенному сроку заказанную редакцией рецензию, но так и не успел. А когда (почти случайно) взглянул на часы, понял, что непоправимо опаздываю по другим — совсем уже неотложным! — делам, и теперь придется бежать по городу, погружающемуся в хищный сумрак самодовольного вечера, привлекая чуть презрительное внимание прохожих, что унизительно, почти как попрошайничество. Бросился собирать вещи, судорожно метался по квартире, хватая одновременно и нужное, и ненужное, мчался вниз, перепрыгивая через ступени; в суетливых попытках вырваться из мышеловки парадного замешкался, недоумевая: почему дверь никак не подчиняется? почему с ней не совладать? Лишь оказавшись снаружи, разобрался: ветер-силач играет дверями, не позволяя ни распахнуть их на всю ширь, ни притворить без того чтобы не грохнуть вызывающе громко, на все девять этажей лестничных пролетов. Но удержал все-таки, прикрыл без хлопка стальную створку, возмечтавшую стать парусом. Облегченно вздохнул, и помимо желанья легкие, как будто их насосом накачали, вмиг наполнились прохладной сыростью. Почти задыхаясь, приостановился на крыльце. А к чему, собственно, вся эта суматоха? Есть ли что-либо важнее, чем этот вечер, это мощное движение воздушных масс, это неповторимое мгновение жизни? По инерции сделал еще несколько шагов, и замер, неприлично глубоко дыша, и все не мог насытиться осенней свежестью.

Порог парадного оказался границей между резким электрическим светом и мягко вспухающей, словно квашня, темнотой, между затхлостью стоячей домашней атмосферы и дикой свободой боря, между тишиной кабинетной работы и уличными шумами, слившимися в нечленораздельный гам, к которому надо было привыкнуть, как и к неопределенности полумрака, и к возможности дышать полной грудью. Пока стоял, насыщая кровь кислородом, наслаждаясь настойчивыми, но нерезкими порывами вольной стихии, успел с некоторым удивлением отметить про себя: «А ведь и не холодно! Середина сентября, а вечерами пока не холодно. Ветрище, конечно, ражий, но южного направления, и за внешним бритвенным холодком он несет во внутренней своей стороне тепло». Через несколько мгновений музыкальный сумбур городской самодостаточной жизни сложился в свинговую синкопирующую композицию. В неподцензурной партитуре помимо посвиста ветра стали различимы долетавшие с улицы партии автомобилей и троллейбусов, ускоряющих или замедляющих ход трамваев... И приглушенные голоса во дворе, и ритмично повторяющийся, неидентифици-

руемый пока скрип. «И-я-уа-уи-уа»,— всхлипывал металлический предмет, неразличимый в темноте. Кто-то, кого еще предстояло опознать, тревожил детские качели, установленные наискосок от парадного. Наверное, на качелях двое или трое, судя по разговору, невнятного, но оживленному. Видимо, это девочки-подростки, судя по тоненьким голоскам, шаловливо толкавшим друг друга, складывавшимся в полудетское лепетание с теми милыми обертонами, которые так естественны для маленьких людей. «И-я-уа-уи-уа»,— подражая девочкам, скрипели качели, радуясь своей нечаянной востребованности в сгущающейся взрослеющей тьме, гордо заявляя о своем существовании в прохладе неподходящего для игр под открытым небом времени года. Странно, но резкие, неприятные позывные ржавой железяки сейчас почему-то действовали успокаивающе, подумалось, что и рецензия будет закончена вовремя, и на свою важную встречу ты не опоздаешь.

Успокоив дыхание, я пошел через темный двор вправо, по направлению к тускло освещенному проезду. Пошел деловито, но уже без излишней спешки. А девочки неожиданно вступили а капелла: «Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой!» Распевая, они стали сильнее раскачиваться, и неповоротливый маятник аккомпанировал с каким-то остервенением: «И-я-уа-уи-уа! И-я-уа-уи-уа!» Неуместность новогодней песенки сейчас, ранней осенью, воспринималась забавным капризом; думалось о ребяческом нетерпении перед встречей с волшебником Дедом Морозом, о подарках и сладостях на украшенном дереве. Да, пройдет слякотное предзимье, наступит раздолье детворе: лыжи и санки, радостная возня в снегу, веселая череда праздников... Девчушки, вероятно, вдохновлялись теми же мечтами и выводили мелодию дружно и слаженно. Хорошо у них получалось! Скорее всего, певуны состояли в каком-нибудь школьном хоре, приступившем к репетициям новогоднего репертуара. Сами довольные своим исполнением, юные хористки брали такие высокие нотки, что голоса их будто бы становились видимыми в темном дворе, теплились фосфорическими огоньками, высекали искры, ударяясь о каменные стены домов, отскакивали от них пламенеющим отзвуком. Почему-то описать этот вокал хотелось, прибегая к самым пошлым метафорам: «ангельское пение», «серебряным ручейком звенел мотив»... И несколько не было стыдно использовать подобные избитые банальности. Улетающие в вечернее небо рулады закручивались вместе со свежим ветром и заполняли пустоту внутри меня.

Радуясь всему случившемуся вокруг за минуту моего пребывания на воле, почти уже пройдя через двор, я привычным движением вытащил из кармана портсигар, отстраненно поругивая сам себя: «Да зачем же тебе это надо?! Да когда же ты, наконец, уже бросишь?! Ведь такой чудный воздух — наслаждайся им! Нет, будешь вдыхать горящую копоть. А ведь сердечко уже давно пошаливает. Сколько предупредительных звоночков, как говорил доктор, уже было дано?» Все это мысленно произносилось, пока руки автоматически доставали сигарету, высекали огонь зажигалки. Первая затяжка была глубокой, но не полностью вытеснила из груди хрустальные кристаллики озона, которые причудливо смешались с дымом, слоями повисшим в легких, что оттеняло вкус табака и заостряло ощущение свежести сентябрьского вечера.

На прощание выдохнул во двор клуб дыма и уже ступил в переулок, когда уловил, что песенка прервалась спором и пререканиями. «Вот глупышки! Ну зачем? Чего не поделили? Ведь было так хорошо!» — с досадой подумал я. А детские голоса продолжали перебранку, утрачивая свое очарование и срываясь на визг. И вдруг, словно автоматная очередь, ударил в спину мат. Разумеется, быть того не могло, чтобы юные школьницы в общении прибегали к нецензурщине, и я невольно потряс головой, как вынырнувший из безмятежной глубины пловец, стараясь высыпать из ушей ошибкой занесенный в них ветром словесный мусор, однако похабные тирады

продолжались, являя всю неприглядность жестокой реальности. Не то чтобы отборные ругательства — вполне тривиальные, но все-таки громоздившиеся в этажи и со знанием дела произносимые слова сгустками мерзости колотили в затылок. Брань грубо резонировала в колодце двора, и эхо, которое еще, казалось, доносило звуки наивного праздничного напева, усиливало ее. Эта inferнальная стереофония сбивала с хода, висла на вороту, накатывала энергичной, но отвратительной субстанцией, накрывала волной ожесточения, придавливала к грязной земле, втирала в асфальт. В единый миг опустошенный, обескураженный, я по-прежнему шагал, продолжая курить, но уже не чувствовал ни ярости шибяющих в лицо пронизывающих порывов ветра, ни кислоты обволакивающего табачного чада. Это было похоже на то, как если бы кто-то беспричинно свирепый пинком вышвырнул меня из моего же собственного двора, и оставалось лишь неуверенной походкой ковылять прочь по переулку, слушая звенящие серебряным ручейком ангельские голосочки, которые все еще матерились вслед. Не в силах осмыслить произошедшее, я как-то потерялся в надвигающейся ночи, в холодном прокуренном каменном городе, продуваемом злым сквозняком. Куда я? Зачем? Сознания хватало лишь на то, чтобы бесцельно брести вперед. Рассудок метался в попытках соединить в единое целое разбитое каменюкой матерщины зеркало бытия, натужно старался восстановить утраченную взаимосвязь частей мироздания, но пробуксовывал в склизкой тьме действительности. Жизнь оказалась лишённой смысла, распалась на несвязанные друг с другом фрагменты, воспринимавшиеся дробно, прерывисто. В голове стали возникать какие-то спазмы. «И-я-уа-уи-уа», — разрушая мозг, скрипело что-то в черепной коробке; ничего другого я уже не воспринимал. Дыхание перехватывало от жуткой амплитуды, раскачавшей меня после выхода из парадного: внезапно подхвативший порыв свежего воздуха и деятельного оптимизма столь же внезапно сменился нервической дрожью и апатией к непобедимому обрыдшему осеннему бедламу, в котором не могут сохраниться в чистоте ни звуки, ни душа.

Замедляя шаги, я двигался мимо заборчика детского сада, пытаюсь вспомнить, куда и зачем мне идти. С удивлением посмотрел на вытащенный изо рта погасший окурок («Что это? Откуда?») и торопливо отбросил его. Воздуха не хватало, раздражал гадкий привкус на языке, чудовищно захотелось пить, за грудиной нестерпимым жаром вспыхнула боль. Ветер, не переставая, дул в лицо, останавливал, толкал назад, однако я с тупым упорством шел дальше, действуя по составленной заранее, уже ненужной, но еще не отмененной программе. Еле передвигая ноги, я преодолел скудно освещенный перекресток, на котором в этот час не было ни одной машины, у здания банка, неприветливо черневшего проемами погашенных окон, повернул налево, и в перспективе улицы, за школьной спортивной площадкой, угадал силуэт собора. Недавно покрытая позолотой маковка как бы сама собой светилась в темноте, крест западной своей стороной еще хранил густо-малиновый отсвет заката, а с востока погружался в непроницаемый мрак. «Зачем же это здесь храм, если там, во дворе?..» — тщетно попытался я добраться до сути, но понял, что слишком поздно задавать вопросы, что наступает время ответа. Двигаться становилось все труднее, ноги начали подламываться, и не было ни возможности, ни воли управлять ими. Выгоревшее сердце превратилось в уголек и не хотело больше биться. Я стал медленно заваливаться на бок, не отрывая взгляда от мерцающего купола. «Хорошо, что возле церкви», — подумал я напоследок и умер.



**Наум Ципис**  
(г. Бремен, Германия)

**БЮСТ В ПОЛНЫЙ РОСТ**  
(Кавказские новеллы)



*Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.*

Взял у «русского» знакомого кассету со всеми «Семнадцатью мгновениями весны», посмотрел запоем и словно побывал во внеочередном отпуске в молодости, в Минске, в Сочи и в Сухуми... Ну, Минск понятен почему: куда бы я по моей жизни ни пошел, его не миную. А вот Сочи, 1975 год, лето — это все благодаря штангартенфюреру Штирлиц и пастору Шлагу. Плятт и Тихонов жили тогда в гостинице «Кубань», где я их и встречал каждый день. А, как известно, ассоциации — дело могучее. Просто совпало: Лиознова в это время там снимала что-то из «Семнадцати мгновений...»

Эта история, в которой присутствуют, наверное, уже неизвестные многим нынешним читателям реалии того времени.

...Лето 1975 год. Мой друг, вместе с которым я окончил железнодорожную «гвардейскую» школу в Виннице, пригласил меня (с семьей...) под видом сценариста на временную, по договору, работу на сочинском телевидении... в июле месяце. Даже он, работая тогда ответственным работником краснодарского крайкома партии, только под таким видом, через подчиненное ему начальство сочинского ТВ, смог заказать мне номер в гостинице «Кубань». Это рядовой «дом колхозника» жемчужины черноморского побережья Кавказа, но — со всеми удобствами. Но даже такое поселение в такой сезон можно было считать нашей принадлежностью к «верху низа пирамиды». И то сказать, своя территория — с душем, холодильником и туалетом! — в июле! месяце в Сочи! за... три рубля шестьдесят копеек в сутки! В то время, как (крепкое было противоударное выражение: «В то время, как...») в белых крейсерских билдингах на берегу моря такие же по площади номера стоили от двадцати до пятидесяти рублей, кроме взятки. В нашей тоже брали, но, конечно, не так... Ну, при заселении четвертной. По-божески. Чтобы освободить нас от этого взноса, мой друг самолично поселял нас в «Кубани», встретив на вокзале на горкомовском ЗИМе. Гостиничные — ребята дошлые: знают, где притормозить, и кто кого кормить обязан.

К морю от нас было минут семь, но через тенистый субтропиковый парк. В гостиничном ресторане «питали» дорого и невкусно, зато рынок был еще ближе, чем море. Я помню анекдотические первые минуты на земле знаменитого курорта. Моя жена, уверовавшая во всемогущество организации, к которой в качестве среднего бонзы принадлежал мой друг, выйдя на балкон уже нашего номера, воскликнула: «Ну, Дима! Почему не с видом на море?» Мы в это время, разлив и разбавив родной винницкий спирт, резали на закуску яблоко. И тут я увидел детски растерянное лицо

умницы и эрудита, моего друга. Через две секунды последовал ответ: «Прости, я думал, что вы не настолько богаты, чтобы за вид на море платить двадцать пять рублей». И через короткую паузу: «Да, и не забудь, что я, как чиновник, служу партии, а ты, как преподаватель — только народу. Потому я за вид не плачу, а тебе пришлось бы».

Зная ваше отношение к партийным функционерам, хочу реабилитировать своего школьного друга: не выгоды ради, а только волей злого случая попал он в эту стаю. Поехали два выпускника нашей, как я уже сообщил, гвардейской, самой хулиганской школы города,— стояла в центре равнобедренного треугольника: вокзал, базар, стадион и открыта была в последний военный год,— да, так поехали они, два моих друга-медалиста в Москву поступать в МГУ. Двое из всей Винницы. То ли дурные, то ли рискованные. Оба поступили. Один из них и был тот самый, о котором я рассказываю. После университета — Краснодар, разъездным корреспондентом краевого радио. А поскольку в отрасли нужны были грамотные и умные люди (они и сегодня нужны в любой отрасли), то друг мой за короткое время дошагал до кабинета с шильдой «Главный редактор». (Как-то приехал он навестить мать, и старая замостянская еврейка, тетя Броня, спросила: «Кем ты работаешь, кем?». Он ответил. Тетя Броня потребовала уточнения: «Главным только радива? А телевидения?». Как бы извиняясь, он объяснил, что пока только «радива», но обещал подумать и «за телевидение». Тетя Броня спросила еще и про зарплату и совсем довольная пошла дальше, приговаривая: «Слава Богу, хоть кто-то получает приличную зарплату...»)

Прошло время. Как выяснила жизнь, оно ни для кого не стоит на месте, Друг женился, занял сына, и все эти годы мечтал жить и работать в Москве. Он попросился на учебу в столицу. Первый человек края, Медунов, сказал: «Поработай год-второй в крайкоме. Наладись районные газеты — пошлем в Высшую партийную школу». А тут Леонид Ильич в гости к другу-Медунову приезжает. Помпа! Все, все, все и еще докладная записка о достижениях знаменитого края — в сафьяновой красной папке. Глянул опытный Ильич одним глазом и вопрошает: «Кто готовил?». Ему называют фамилию моего друга. (Месяц тому вызвал его Медунов: «Вот тебе материалы, месяц срока. Напишешь такую записку, как «Фауст» Гете — будет тебе Москва.») Брежнев и говорит своему помощнику, который всегда у него за спиной: «Запиши фамилию. Нам в аппарате нужны люди, которые пишут докладные, как Гете «Фауста». Через три месяца мой друг жил и работал в Москве на Старой площади. «А отказаться?» — спросил я. Он улыбнулся: «Можно было. А что дальше?». Такая, значит, история, а мы хронологически находимся в самом ее начале. И теперь вам ясно, почему мой друг не мог отказаться от предложения, которое ему сделала коммунистическая партия Советского Союза, и в данный момент, несмотря на то, что был человеком порядочным, хотя и партийным чиновником, отдыхая в сочинском санатории на берегу моря, за вид на него ничего не платил.

И еще один штрих из биографии положительного партаппаратчика. Было у него опасное, я бы предположил, вынужденное хобби. Вольная винницкая душа постоянно просилась погулять — винничане этим похожи на одесситов: и те, и эти не любят над собой ни потолка, ни начальника. А в нашем случае, как вы понимаете, человек все время, кроме дома и то... ходил, застегнув и пиджак, и душу на все пуговицы. Где-то должна была найтись отдушина. И она нашлась: стал кропать стишата-маломерки, четверостишия. А читать их было некому. Их и писать было опасно, а уж читать... И, когда я изредка наезжал в Москву, на меня и вываливалось. Я слушал и тайно гордился: смелый вырос человек, мой друг. Стань известным его внеслужбное творчество — гонорар соответствующие товарищи обеспечили бы всенепременно: либо психушка, либо зона.

В целом сложился малолитражный эпос строк на тысячу-тысячу двести. Жаль, книжка не вышла. Вначале демократические издательства еще по инерции боялись, а потом в тех же издательствах говорили, что поздно, поезд ушел. Я и сейчас, спустя столько лет, не могу взять в толк, как может опоздать история. Чтобы совсем не пропало для читателя, обнародую несколько «мелких брызгов» моего друга. И без комментариев: эти ювелирные языковые изделия — сами себе комментарии.

*Была тоталитарная эпоха,  
Когда любой чего-нибудь лишен.  
Мне объективно было очень плохо,  
А субъективно было хорошо.*

*И вот, режим ужасный сокрушен,  
Однако жизнь не может без подвоха.  
Мне объективно стало хорошо,  
А субъективно стало очень плохо.*

*Я себе представляю слабо,  
Как случаются эти шутки:  
Демократия — баба, как баба,  
А вот дети ее — проститутки.*

*У нас в России испокон веков  
Большевики громят большевиков.  
И наш народ давно уже привык,  
Что вечно побеждает большевик.*

*Один вопрос проклятый мучит,  
Одно пытаемся понять:  
Как все решительно улучшить  
И ничего не изменять.*

*То отстаем, то догоняем мы,  
То черт вмешается, то бес.  
В борьбе мерзавцев с негодяями  
И утверждается прогресс.*

*Великолепная больница,  
А в ней, до коллик жизнь любя,  
Лежат ответственные лица  
На сохранении себя.*

*В боях родились, закалялись в парадах,  
Взросли в оптимизме казенном.  
Союз наш держался на двух аппаратах —  
Партийном и самогонном.*

*Вы о чем печетесь и о ком?  
Лучше бы у Бога попросили,  
Чтобы из правителей России  
Этот был последним дураком.*

*Хрен с тобой, мели Емеля,  
Но ответь мне на вопрос:  
Это свет в конце туннеля  
Или встречный паровоз?*

И последнее четверостишие в этой обширной цитате. Для того, чтобы вы не подумали, что мой друг только «физик», он еще и большой «лирик».

*С грузом лет шагаю под уклон,  
Как с одним ведром на коромысле.  
Голова лысеет с двух сторон —  
Выпадают волосы и мысли.*

Вернемся в номер сочинской гостиницы «Кубань», где мы с моим другом, невзирая на интересные вопросы моей жены, выпили винницкого спирта и закусили кавказским яблоком. И мой друг объяснил мне, что и «Кубань» одолеть было непросто, но поскольку редкостно совпало — он получил путевку в дом отдыха «Зеленая Горка», что на окраине Сочи, в то же время, на которое я просил его добыть мне место под сочинским солнцем. А не виделись мы годы и годы.

Это был их лучших отдыхов моей жизни. Месяц с другом, с женой, к которой никак не привыкну, словно вчера встретил... С желанной дочерью, которая еще не ходила на свиданье — ей было шесть лет. Чистое отдохновение — одни удовольствия, и еще в том возрасте, когда по утрам ничего не болит, а совсем наоборот.

И — еще живы мама и папа. Сейчас-то я понимаю, что это было фундаментом под всеми счастливыми часами той давней жизни и, как все фундаменты, оставалось невидимым. Видимым оно стало, когда они умерли. А тогда были живы и тем высвобождали меня для собственных удовольствий и наслаждений.

«Зеленая Горка», где отдыхал мой друг, была в свое время дачей Сталина. Потом ее передали в управление делами ЦК КПСС, и она стала местом отдыха вождей братских партий. Невдалеке построили современный высотный корпус — для своих. Братские же вожди размещались в собственно бывшей даче нашего великого вождя. И поскольку дача эта числилась за Сочи, а Сочи — за Краснодарским краем, а мой друг служил в отделе агитации и пропаганды одноименного крайкома партии, то и получил номер в бывшей спальне нашего вождя. Симпатизирующая моему другу администраторша, очень даже видная дама ранних средних лет, что называется, кровь с молоком, шепотом сообщила ему, что руководство этого серьезного курортного учреждения считает его, то есть моего друга, чьим-то очень, очень протеже, поскольку в этом доме со дня его рождения такого рядового партийного чина в качестве отдыхающего не было. Читатель помоложе улыбнется: парадоксы не нашего времени. Наше время — время не чинов, а денег, и никаких удивлений ни на Кавказе, ни на Майорке.

Утром, позавтракав, мы садились в автобус и ехали до остановки «Зеленая Горка». Здесь нас встречал мой друг и со словами: «Это со мной» — сопровождал через проходную на сильно ведомственный пляж. В сезон разница между таким пляжем и «диким» — ниже любого сравнения. Жена с дочерью загорали на персональных лежаках с простыночками (это после слов: «У меня гости»), а мы пили чешское пиво и играли в преферанс с вождями братских партий. Частенько выигрывали и, поскольку играли не на щелбаны, то и на полных правах шли всей компанией в буфет широкого ассортимента с необыкновенным в то время даже для юга выбором вин и коньяков. Там я впервые увидел и попробовал любимое вино товарища Сталина — «Атенури».

Там же, в том сказочном буфете, брали, выражаясь по-винницки, «что-нибудь особенного» к обеду. А если не выигрывали, то выпивали и брали то же самое к обеду, но не на полных правах, оправдываясь и красиво винясь перед моей женой. Следует, наверное, сообщить, что жена друга в это время навещала свою маму далеко от Сочи. «Везет нам,— говорил мой друг,— одна твоя. А если бы и моя, то уже коллегия: это значительно труднее...».

Мой друг устраивал нам экскурсии по бывшему дому Сталина. Дом этот имел форму замкнутого четырехугольника с внутренним двором: фонтан, клумбы, беседки, араукарии, олеандры, рододендроны. «Заметь, крыши до сих пор красят в зеленый цвет: маскировка...». Там я убедился, что рассказы о любви Сталина к деревянной отделке комнат были не выдумкой. Вся дача внутри была деревянная. Дубовые панели — стены, светлый потолок — береза, резные перила, наборный мозаичный паркет. Лестницы, по которым нам довелось подниматься-опускаться, громко скрипели. «Попробовали бы они скрипнуть при нем...»,— улыбнувшись, уронил мой друг. Номер его был не самый комфортабельный из тех, что мне приходилось к тому дню видеть, но просторный и светлый. Деревянные ореховые панели придавали комнате теплый вид. И я еще раз одобрил вкус Иосифа Виссарионовича.

Прошли мы и по всему периметру дома, где когда-то наездами жил один человек со своей дочерью. На первом этаже размещались все хозслужбы, кухня, медчасть, служебные и жилые помещения охраны, большая гостиная-столовая, где при необходимости можно было собрать (и собиралось) заседание Политбюро или большие посиделки: то же Политбюро, но не официально и не в полном составе, с артистами и артистками — развлекателями. На втором этаже одно крыло — Светланины комнаты, все остальное — кабинет, библиотека, узел связи, комната отдыха и спальня, где сейчас спал русоголовый потомок староверов, осевших на украинском Подолье. Да, забыл о весьма существенном помещении этого дома. К первому этажу была пристроена стеклянная «бонбоньерка»-бассейн. Она покоилась на нескольких колоннах и нависала над крутым склоном, обрывавшимся в море.

В новые времена бассейн не действовал, в те — вождь, не купавшийся в море, все же купался в морской воде, которую каждое утро накачивали в этот бассейн. «Слушай, а почему он в море не купался?» — спросил я, как-будто принадлежность моего друга к партийным чиновникам обязывала его знать это. «Не знаю, — сказал он. — Наверное, боялся». «Боялся утонуть?». «При чем здесь море!». «А-а...» — понял я. Сквозь стекла округленной многоугольной веранды в просвете гигантских сосен виднелось веселое голубое все в солнечных блестках море — чистое и прозрачное, как воздух над ним. Казалось, что на горизонте, на самом пределе, видна Турция.

«Знаешь, — сказал мой друг, когда мы с ним, уложив моих женщин спать в сталинской спальне, пошли в этот тихий час к морю,— знаешь, каждую ночь, перед тем, как заснуть, я испытываю беспокойное чувство: он здесь спал. Словно присутствие чужого страха, ярости, метаний... Понимаешь, в этой комнате все пропитано его мыслями и чувствами. И каждую ночь я попадаю в этот сумасшедший эпицентр. Мне кажется, что я понимаю, что он думал и чувствовал... Иногда он снится и что-то рассказывает, а утром я ничего не могу вспомнить. Только одну фразу, которой он заканчивает свои ночные признания: «Ты внук старовера, ты поймешь». Я думаю, что тяжело жить после смерти, если при жизни ты стал абсолютно одиноким по своей воле. А уж, если и крови на тебе...».— «Шел бы ты в другую палату». — «Неудобно... Вроде, мне чуть ли ни лучшую отдали. Да... Интересно все это. Ничего подобного раньше не бывало...».— «Ладно, поэкспериментируй. Хорошо, что мертвый, а то — «попробовали бы они скрипнуть при нем...». И мы расхохотались. Молодые еще были и здоровые, могли играть с огнем. Правда и то, что не рассказал я моему другу о

разговоре с дочкой, посчитал — незачем: если он с ним где-то на нейтральном поле встречается, чувство со стороны может повредить.

Жена и дочь не первый раз тогда оставались в спальне Сталина на часок вздремнуть после обеда. И как-то дочь сказала мне: «Па, а чего это дед какой-то ходит...». — «Какой еще дед?». Выяснилось: ходит. Как только они с мамой лягут спать, так он и приходит. Спрашивает: «Не страшно тебе?». Я говорю: «Не страшно. А если усы сбреешь, то совсем будет не страшно. А еще стучать надо и спрашивать разрешения». Он смеется: «Не страшно, потому что еще маленькая. Усы... Нет, теперь вроде, уже не сбрею. Поздно. Да и раньше тоже проблема была бы: народ привык. А насчет постучать, так вы, вроде, тоже без стука и разрешения. Так что, кому к кому стучать и разрешения спрашивать — это большой вопрос. Ладно, спи. Вырастешь — обязательно будет страшно. Человек без этого не живет. Не умеет. Привык».

Так вот, передала мне дочь разговор с хозяином спальни. Времени прошло много, но за смысл отвечаю. И по сей день не рассказал я этого моему другу. Не знаю почему. Это уже епархия «внутреннего голоса».

Еще два слова скажу о корнях друговых. Дедом ему был староста винницких староверов, выдающийся плотник и столяр. (В детстве я знал разницу между этими профессиями, как и между рубанком и фуганком, а потом забыл. Пришлось восстанавливать для себя и для вас: уверен, что многие читатели тоже забыли или не знали. Плотник, в основном, человек топора. Он избы рубит, двери, рамы делает. А столяр — он мебель делает, панели. Высший класс столяра — краснодеревщик.)

От деда моего друга осталась мне на память одна строка неизвестной песни, которую он пел, редко, но мощно запивая в секретах большого дома с большим садом и огородом за глухим забором. Для старовера да еще старосты это было великим грехом. Потому и в секретах. Строчка же из неизвестной песни такова: «...трошки з водкой напувався...». Впоследствии, во взрослой своей жизни я ее, эту строку, брал на вооружение. Ее самокритическая суть как бы оправдывала самый распространенный веселый и проклятый русский порок. Жене моей, которой я иногда пел эту строку, так почему-то никогда не казалось.

Дед моего друга был большой и красивый — то, что часто говорят, но редко видят: косая сажень в плечах, белая грива и белая борода, синие глаза и — золотые руки. Какой дом, построенный этими руками, он оставил потомству! Внуку говорил уже на исходе: «Когда женишься и захочешь здесь жить (в доме к тому времени уже обитала семья младшего брата моего друга), помни — фундамент заложен такой, что выдержит два этажа — можешь надстраивать». Такие были у нас предки.

Однажды мой друг организовал мне малую персональную экскурсию по большому периметру, как он выразился. «Считай туалеты», — бросил он, и мы пошли... «Посчитал? Что скажешь?». — «Зачем столько и таких?». — «На первый вопрос нет ответа, но можно предположить, что наш великий вождь и учитель страдал недержанием мочи. А на второй ответ есть: большому человеку — большие туалеты. С кушеточками для отдыха. С письменными столами и принадлежностями. Помочился или что другое, более трудоемкое — устал — качественно одыхни, как говорили у нас, в Виннице, на Замостье. Или мысль пришла — тут же стол, золотой «паркер», спецбумага — запиши. Удивительно другое — нет холодильников, чтобы во время отдыха после оправления можно было выпить-закусить. А может, они и были тогда». — «А для чего ты мне это показал?». — «А для интереса и чтобы не пропало». — «Может, и не пропадет...».

Может, и не пропадет.

\* \* \*

Еще один кавказский эпизод — назовем новеллкой, — свидетелем которого я не был, но мой друг так это рассказал, что вроде и был. Здесь тоже присутствует Сталин, но не живой, которому нужно было много туалетов на сочинской даче, а его памятник в родном ему Гори. И тоже не хочется, чтобы пропало. Не зря же древние греки говорили: «Что не написано, того не было». Выходит, все, что написано, все не зря. Другое дело, интересно ли читать. Если да — литература, если нет — факт жизни и не более. Но и не менее. И главное — не пропало.

Вторая новеллка такова. Как вы уже знаете, стоит на родине Сталина в Гори памятник вождю, автор грузинский скульптор Шота Микитидзе. Надо сказать, что памятник этот — один из лучших на многие тысячи стоявших в нашей стране. И стоял он нерушимо сорок шесть лет, до 2008 года, когда его ночью демонтировали и перенесли из центра Гори к домику-музею Сталина, где планируют создать музей российской оккупации.

И как же здесь не сказать двух слов о Гори. Селение это основал тысячу лет тому Давид Строитель. К нашему времени Гори стал городом и центром Шида-Картлинского края. Старинная земля... Такая, кого хочешь родит. Вот и Сталина родила. И, конечно же, как тут без величественного памятника обойтись, а еще, если учесть традиционную гордость грузин своими предками и великими земляками.

По художественной ценности и величию с этим памятником, как говорили искусствоведы, может сравниться только монумент вождю в Минске, созданный белорусским скульптором, но евреем, Заиром Азгуром. Этот белорусский десятиметровый Сталин уступал своему тоже бронзовому грузинскому двойнику пять метров в росте. Понятное дело: не может быть на родине великого человека памятник ниже, чем в какой-то Белоруссии. К слову, согласно принятому на самом верху постановлению, минский монумент так рванули, что вылетели все окна в домах, окружавших центральную площадь города. «Хорошо еще, что сами дома не улетели», — мрачно шутили минчане.

Осенью того года, когда рушились боги и памятники, был мой друг назначен руководителем партийной делегации крайкома в сопредельную братскую республику Грузию. В программе визита, конечно же, значилось посещение многих памятных мест, в том числе, родины великого, но уже опального вождя, Гори. Включением этого пункта в маршрут делегации демонстрировалась известная строптивость и независимость кавказского духа. Принимали, как умеют принимать гостей грузины. Но особо, и это понятно, если стать на грузинскую точку зрения, принимали на родине бывшего вождя. Это была последняя «позиция» программы, после которой делегаты загружались в машины вместе с обильной подарочной продукцией коньячных заводов и отправлялись домой переполненные яркими грузинскими впечатлениями.

Делегация уже побывала на горийских полях и виноградниках, в школе и доме престарелых, плодоовощном и коньячном заводах, посетила домик под мраморным навесом, где родился великий земляк горийцев; там же, в память о нем, выпили по бокалу прохладного молодого вина, постояли у замечательного памятника, а тут и подошло время обеда.

Кавалькада машин — исключительно черные «Волги» — остановилась у городского ресторана. (Десять «Волг» черного цвета специально для таких случаев были сюда завезены, а ресторан специально для таких случаев был построен.) Во второй машине сидел руководитель делегации гостей, мой друг, и первый секретарь горийского райкома партии, в то время, единственный в такой должности на весь СССР Герой Социалистического Труда. (Тогда партия не баловала своих низовых команди-

ров — им и так хватало.) В первой машине сидели, ну, вроде охраны, почетной охраны, начальник районного КГБ и начальник райотдела милиции; оба полковники, учитывая, конечно, необычность района и городка, который благодаря этой необычности, стал районным центром.

В зале приема пищи не было ни одного посетителя. «А что это так безлюдно в грузинском ресторане, или горийцы уже не пьют и не веселятся?» — бестактно спросил один из членов делегации. «Люди узнали, что я принимаю гостей, и не захотели мешать. Грузины — народ тонкий...» — деликатно снял возникшую неловкость хозяин района.

Во время трапезы у стола появился ящик с запыленными бутылками, который поставили у ног секретаря райкома. Он вынимал бутылку из ящика, передавал ее официанту, тот обтирал бутылку и передавал ее следующему официанту, а тот так расставлял их на столе, что получилось — одна бутылка на одного человека. Каждому наливали из «его» бутылки.

«Я предлагаю представителям высокой сопредельной стороны выпить первый бокал этого, любимого нашим великим земляком и вождем всех народов, вина, называемого «Атенури». Виноград, из которого делают это вино, растет только в нашем районе и на очень маленькой площади. И если армянского коньяка хватало, чтобы и Черчиллю выделить немножко, то «Атенури» не всем даже высоким гостям хватает. Сейчас вы попробуете самое старое вино этого производства за всю его историю. И выпьем его за дружбу наших народов!» — так сказал единственный в стране Герой среди партийного районного начальства.

Вино оказалось достойным высоких оценок секретаря райкома, вкусов вождя всех народов и всяческих похвал представителей высокой сопредельной стороны. Оно оказалось достойным и такого тоста, но, как мы уже знаем, даже такое вино не смогло помочь. Прошло всего несколько десятилетий, — сын моей тогда шестилетней дочери успел закончить школу, — а грузины перестали дружить с русскими, а потом дело дошло до гражданской войны в Грузии, а еще потом, страшно вспоминать, русские стали воевать с грузинами... Но в то время, о котором я рассказываю, тост, который произнес горийский секретарь, еще действовал. И даже рождал теплые чувства в душах участников того застолья.

Количество пустых бутылок росло и, когда народ уже неплохо наатенурился и пришло время публичного одиночества, мой друг спросил у самого «старого» секретаря райкома в СССР (некрасиво же было перед всем миром признать, что первый секретарь райкома на родине великого вождя чем-то нехорош. Вот и приходилось: снизу из всех сил быть хорошим, а сверху — не замечать мелких человеческих слабостей снизу), — да, так мой друг задал вопрос, который мог быть задан только во время публичного одиночества: каким образом памятник товарищу Сталину в Гори уцелел, тогда как, согласно решению самых высоких партийных инстанций, подобные памятники по всей стране — категорически! — были от мала до велика снесены?

Ощувив неподдельный интерес руководителя делегации сопредельной стороны, хозяин знаменитого района, несмотря на потомственную закалку, тоже не остался равнодушным к чарам любимого напитка своего великого земляка, а так же, не лишенный традиционного грузинского патриотизма и гордости, вот что рассказал моему другу.

Я перескажу это на русском языке, а каждый из вас сам произведет корректировку в сторону грузинского акцента. В этом вам поможет свидетельство моего друга, который сказал, что секретарь-гориец говорил с гораздо большим акцентом, чем его великий земляк; хотя, как на мое ухо, так уж больше некуда. Я же стану в это вмешиваться только в моменты крайней необходимости и для придания повествованию художественной правды. Итак, говорит хозяин застолья.

«Приехал представитель СыКаКаПэЭсЭс и сильно гневался: как! что! и почему такое?! — по всей стране всенародно снимают памятники агенту царской охраны, убийце Ленина, сатрапу и всеобщему душегубу, а тут, у вас, в самом гнезде, стоит, как и не бывало, многопудовый и многометровый бронзовый идол и хоть бы что?!»

Даже простой человек может представить, что я чувствовал, слушая этого ответственного работника СыКаКаПэЭсЭс. Чувствовал, но молча: партийная дисциплина. «Снять! Неделя срока ввиду масштаба. Буду докладывать лично!..» — тут он назвал имя человека, который тогда возглавлял нашу славную партию. Это имя я не хочу называть, потому что я не знаю, как его могла родить его мама! И тут я уже не мог молчать. Я ответил представителю СыКа, что разве он не знает, где стоит этот памятник? Это же родина нашего великого земляка. «Что?! — сказал представитель и подпрыгнул на стуле. «Я его снимать не буду, сказал я, потому что я не могу его снимать: у меня отсохнут руки, и мой род будет проклят до седьмого колена». Я спросил представителя, знает ли он, что это такое — до седьмого колена? И объяснил, что это уже тогда, когда нас не будет, и даже коммунизма, которого еще нет, тоже не будет. «Лучше сними меня, чем я сниму его», — сказал я. Представитель хлопнул дверью моего кабинета так, что закачалась тяжелая люстра, и поехал докладывать.

Я взял трубку и позвонил моему другу, первому секретарю СыКа Грузии Василию Мжеванадзе. Он выслушал меня и сказал, чтобы я не торопился, и что он позвонит человеку, имя которого я не хочу называть. Поговорю, сказал Василий, и позвоню тебе, да? Конечно, сказал я. Тут мне звонит мой КГБ и говорит: ты знаешь, что весь Гори стоит с охотничьими ружьями и кинжалами вокруг памятника? Весь? — удивился я. Ну, может, без женщин и детей, сказал мой КГБ. А кто им сказал, еще больше удивился я. А ты, кому сказал, спросил он. Я никому не сказал, говорю я, но, может, кто по ошибке включил громкую связь в приемной, когда я разговаривал с представителем СыКа? И отстань от меня в такую минуту — охрана общественного порядка и Памятника — это твой проблем. Мой, который сейчас решается, — это, чтобы тебе было что охранять, да? Он спрашивает: какой такой большой проблем? Я ему говорю: этот проблем ростом, как наш Памятник, возле которого стоит с охотничьими ружьями весь Гори, кроме детей и женщин. Тогда он отстал. А я стал думать. Я долго сидел и ничего не придумал. Тогда в два часа ночи я собрал срочный внеочередной и чрезвычайный пленум райкома нашей партии с одним вопросом на повестке ночи: о том, как не надо ломать памятник нашему великому земляку — товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. Я все доложил товарищам и дал задание думать. Все сидели и думали, курили и думали, молчали и думали. И так до половины седьмого утра. А утром на дереве у райкома стала куковать русская кукушка. Я думаю, что вам не надо объяснять, что это значит. Пленум стал считать свои годы и насчитал пятнадцать-шестнадцать. А я сказал своим товарищам: это очень много, и если мы ничего не придумаем, то кукушка считала нам не годы, а месяцы. Тогда пленум стал говорить. Один говорил — партийная дисциплина, и мы не виноваты. Другой, что, когда идет паровоз, то умный уходит с рельсов. Третий, что малую нужду против ветра справляют только пациенты доктора Чхеидзе. Есть у нас такой психиатр, хороший профессор.

В ту кошмарную ночь я еще не совсем потерял наше грузинское чувство юмора и спросил товарищей: а большую нужду против ветра без разрешения доктора Чхеидзе можно справлять? Товарищи по пленуму тоже еще не потеряли грузинского чувства юмора и немного посмеялись.

Совсем утром позвонил Мжеванадзе и сказал, что человек, имя которого я не хочу называть, топал ногами по телефону и в конце разговора, как сказал Василий, который тоже не потерял наше чувство юмора, состоявшего из одних кудрявых слов,

сказал еще одно слово: снять! И обязал Мжеванадзе передать эти слова мне с еще тремя словами. Ладно, подумал я, гора с горой не сходится...

Надо было расходиться по домам, немного поспать, если получится, а потом вызвать милицию и солдат, разогнать добровольцев-охранников и снимать великого земляка с пьедестала... Позор на мою голову! Где мой Бог? Где? И тут меня осенило! Бывают редкие минуты, когда счастье тебя любит, и тогда ты делаешь красивых и умных детей, сажаешь виноградную лозу и совершаешь доброе дело. Ты просишь Бога помочь, и он помогает, даже если ты коммунист...

Я попросил секретаршу сделать нам всем чай и, когда мои удивленные товарищи стали пить благородный напиток, я обратился к ним так: ваш первый секретарь так долго живет и работает секретарем, что у него уже, наверное, может быть склероз, или он, возможно, сошел с ума, но ему кажется, что у нас в стране когда-то было принято постановление СыКаКаПэЭсЭс и Совета Министров тоже о том, что Дважды Героям Советского Союза на их родине ставят бронзовый бюст. Наш великий земляк и учитель всех народов товарищ Сталин, если мне не изменяет память и если у меня не склероз, да? — тоже был Дважды Герой: и боевой, и трудовой, да? Так почему же ему, великому вождю, не оставить на его родине бюст в полный рост?

Первый секретарь тут же, после того, как все участники ночного срочного внеочередного и чрезвычайного пленума с одним вопросом на повестке ночи, персонально расцеловали его за мудрость в осуществлении ленинских идей в осуществлении коммунистических принципов компромисса, — снял трубку белого телефона и доложил Первому секретарю Коммунистической партии Грузии о том, к чему пришел в итоге, да? — горийский пленум. Мжеванадзе, немного помолчав, пообещал распить с пленумом ящик «Атенури» и велел от лица этого, как он выразился, уже вошедшего в историю Грузии пленума, послать коллективную телеграмму человеку, имя которого я не хочу называть. В телеграмме, посоветовал Василий Павлович, должно быть указано, на основании какого партийного документа памятник нашему великому земляку в форме «бюст в полный рост» необходимо сохранить, как объект истории и культуры, охраняемый государством. При этом Мжеванадзе проявил нерядовую даже для грузина смелость и большое чувство партийной солидарности. Он сказал: «Когда будете подписывать телеграмму, первой поставь мою фамилию».

Я очень беспокойно спал каждую ночь после того, как в Москву была отправлена эта телеграмма. Каждый день после этого я ждал известий из Москвы. Я помнил, что куковала нам русская кукушка. Известия пришли: человека, имя которого я не хочу называть, сняли и хорошо, что отправили только на пенсию, да? Жаль, мы с ним не встретились...

А наш великий земляк стоит и будет стоять — в полный рост!»

Когда делегация краснодарского крайкома партии возвращалась домой, в сумке каждого ее члена лежала бутылка старого «Атенури».

P.S. Хорошо, что Вернадский «открыл» ноосферу, иначе, как бы мы объяснили многие невозможные явления и факты, включая и то, что рассказывается в этом постскрипуме. Если бы не Вернадский, я бы остался с неразгаданной как бы случайностью и неудовлетворенностью общими местами в описании памятника Сталину.

Не так давно взял я в библиотеке еврейской общины две последние книги из четырехтомного полного собрания сочинений Василия Гроссмана, изданного московским «Вагриусом». Романы этого писателя: «За правое дело» и многострадальный «Жизнь и судьба», читал и, как все читавшие, осознавал высоту и серьезность написанного, а вот очерки его, за редким исключением, и повести — не довелось.

В тот день, уже за полночь, поставив точку в новелле о памятнике Сталину в Гори, с приятным чувством типа «ай, да Пушкин, ай, да сукин сын» лег спать и по мно-

голетней привычке перед сном стал читать. На очереди был очерк Василия Семеновича «Добро вам!» Очерк этот, об Армении, имеет небезытересную историю. (У Гроссмана, что ни произведение, то небезытересная история...)

Не удалось этому выдающемуся писателю в его не долгой и трагически оборвавшейся жизни пожить в материальном достатке. В 1963 году в поисках заработка согласился он поехать в Армению переводить роман тамошнего классика. Привез оттуда очерк, а может, как писали критики «маленькую повесть или, точнее, удивительную поэму в прозе» — «Добро вам!». Предложил журналу «Новый мир». В очередной раз рискуя, главный редактор этого журнала Твардовский поставил материал в номер. Как ни удивительно, цензор, убрав всего шестнадцать строк из 100-страничного журнального текста, пропустил очерк в печать.

Кто читал или прочтет «Добро вам!», тот поймет, что появление этого произведения в печати того, послевоенного, времени было бы нравственной победой писателя, журнала, общества. Узнав о сокращении, Гроссман запретил печатать очерк. Даже друзья не могли этого понять. Сто страниц «Нового мира» и — шестнадцать строк, один абзац...

Тогда не поняли, а сегодня и не литератору виден порядочный честный человек, который не позволил унижить себя, литературу и нас с вами. Чтобы избавить читателя от поисков этих шестнадцати строчек, я их процитирую: «Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья заговорили о муках еврейского народа в период гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, низко кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне, кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовнях и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали сегодняшние охоторядцы слова презрения и ненависти: «Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил». До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мной в сельском клубе».

Гроссман так и не увидел свою поэму в прозе напечатанной — он умер от болезни, вызванной арестом рукописи романа «Жизнь и судьба». «Добро вам!» было опубликовано через двадцать лет.

И вот, я читаю этот очерк... Только что расстался со «своим» Сталиным и — тут же встречаюсь с ним, гроссмановским: почти та же коллизия. О немислимых совпадениях «закономерных случайностей», которые сделали возможным такую встречу в такой форме, я говорить не стану. Для меня ясно, что судьба (ноосфера Вернадского?) захотела, чтобы вы в этих записках прочли несколько цитат из сталиниады Гроссмана.

«Над Ереваном стоит памятник Сталину. Откуда ни посмотришь, виден гигантский бронзовый маршал. Если бы космонавт прилетев с далекой планеты, увидел бы этого бронзового гиганта, возвышающегося над столицей Армении, он бы сразу понял, что это — памятник великому и грозному владыке.

...Он шагает, шаг его медлителен, тяжел, плавен — это шаг хозяина, владыки мира, он не спешит. ...Конечно, этот величественный бог в шинели — превосходная работа Меркулова. Может быть, лучшая его работа. Может быть, это лучший памятник нашей эпохи...» (Если вы помните, так говорили понимающие люди и о памятнике Сталину в Минске, так же называли его лучшей работой белорусского скульптора и лучшим памятником Сталина в СССР. Может, на момент созерцания огромных идолов у всех людей во все времена эстетическое отступает на задний план, а вперед выходит блеск бронзы, вес монумента, его масштабы? Может, он давит и уменьшает тебя оттуда, из поднебесья, куда его ты сам вознес — тоннами, метрами, объемами и площадями, а не возвышает тем, что в искусстве называется прекрасным? Н.Ц.)

«Кажется, облака касаются головы Сталина. Высота фигуры — 17 метров. Фигура вместе с постаментом — 78 метров. Когда шла сборка памятника и части огромного бронзового тела лежали на земле, рабочие проходили, не сгибая головы, внутри полой ноги Сталина.

Его установили в 1951 году. Государство выразило характер Сталина. В характере Сталина выразился характер построенного им государства.

Я приехал в Ереван в дни XXII съезда партии, когда проспект Сталина переименовали в проспект Ленина. Многие мои собеседники-армяне ругали и кляли Сталина. Некоторые говорили изящно: «Пусть металл, пошедший на создание этого памятника, обретет свою первоначальную благородную сущность».

...Когда стемнело, начался салют в честь 44-й годовщины Октябрьской революции. Я подошел в темноте к памятнику Сталина. Картина, которую я увидел, была поистине потрясающей. Десятки артиллерийских орудий стояли у подножья монумента. При каждом залпе длинный огонь пушек освещал окрестные горы, и гигантская фигура Сталина вдруг выступала из мрака. Светящийся, раскаленный дым клубился вокруг бронзовых ног хозяина. Казалось, генералиссимус в последний раз командовал своей артиллерией — мрак раскалывался грохотом и огнем, сотни солдат суетились у орудий, и снова тишина и мрак, и опять слышны слова команды, и вдруг из горной тьмы выступал грозный бронзовый бог в шинели.

...В одной горной деревне Араратской долины на общем собрании колхозников было предложение снять памятник Сталину. Крестьяне заявили: с нас государство собрало сто тысяч рублей, чтобы поставить этот памятник. Теперь государство хочет его разрушить, пожалуйста, разрушайте, но верните нам наши сто тысяч. А один старик предложил, если снять памятник, и, не разрушая, похоронить. «Он может еще пригодиться, если придет новое правительство, тогда нам не придется вновь вкладывать свои денежки».

Я не знаю, сохранился ли памятник Сталину в Ереване или его снесли-взорвали, как в Минске. Но в Гори он еще долго стоял. «Это не бронзовая легенда,— сказал Гроссман.— Это бронзовая реклама легенды».

Теперь можно ставить вторую точку в этой новелле.

*(Окончание следует)*



**Валерий Пайков**  
(г. Бнэй АИШ, Израиль)



*Валерий Пайков, доктор мед. наук, профессор (Санкт-Петербург). В Израиле с 2000 года. Автор десяти стихотворных сборников, поэтических публикаций и очерков в бумажной и электронной периодике Германии (Крещатик), Израиля (Литературный Иерусалим, Юг и др.), Италии (Другие берега), России (Бег, Дальний восток, Сетевая словесность, Сорок пятая параллель и др.), США (Континент, Побережье, Связь времен). Участник ряда антологий и коллекций. Финалист сетевых Международных поэтических конкурсов: «Волошинские чтения» (Коктебель, 2005), журнала Крещатик (Германия, 2007), порталов «Под одним небом» (2007), «Литсовет» (2008), «Изба-читальня» (2008) и др. Член Союза русскоязычных писателей Израиля.*

Много нынче отъездов  
(как обрыв якорей)  
то ли в рай, то ли в бездну —  
лишь подальше, скорей...  
Где мы с вами встречались  
в наши светлые дни,  
там сегодня свечами  
только трубы одни.  
А в глуши небосвода  
звезд холодных салют...  
Что такое свобода,  
где ее подают?

\* \* \*

Жена подкармливала птиц.  
И часто по утрам  
со всех станиц, со всех столиц  
они слетались к нам.

Вороны, чайки, воробьи,  
склевав последний знак,  
о верной дружбе и любви  
нам посылали знак.

Когда рассвет вставал в росе,  
неслось со всех сторон,

что мы с пернатыми в родстве  
из глубины времен.

У нас, и вправду, на спине  
от крыльев два следа,  
и не случайно, мы во сне  
летаем иногда.

### **ЖИЗНЬ**

Мы на войне, не ведая, не прячась...  
Зажав покрепче нервы, как в узле,  
мы бьемся вновь, то радуясь, то плача,  
за каждый миг дыханья на земле.  
Мы рождены, чтобы сражаться с жизнью —  
и все давно расписано судьбой.  
Наш век недолгий для сражений призван  
с любовью, с Богом, и самим собой.  
Мы не должны обманываться вечным,  
бояться боли и ревнивых глаз,  
но, «доброй ночи» говоря беспечно,  
знать, что она опять в последний раз.

### **ВОЕННАЯ ИГРА**

Под Лугой ветрено и дымно.  
Но выбран день — идет война.  
И наша ненависть взаимна,  
хоть все мы — армия одна.

Отрепетированы роли.  
Идет игра — грохочет бой.  
Мы все — народные герои,  
и каждый горд самим собой.

В пылу обстрела (холостыми)  
бежим, надсаживая грудь,  
чтобы навеки не остынуть —  
суметь убить когда-нибудь...

Нас жажда жизни, жажда смерти —  
чужой — спасала и несла.  
И птицы пели: «Смейте! Смейте!»  
А на холмах цвела весна.

И все мы были молодыми,  
и мир еще был должен нам.  
Пространство в зелени... и дыме  
под Лугой падало к ногам.

Мы мчались вдаль по неудобью,  
звериной мглой ослеплены.  
И был спасению подобный  
конец игрушечной войны.

### ДОРОГА

Мечено атомом, ядами мечено,  
небо туманами заволокло.  
Видно, как звезды над озером мечутся,  
слышно, как падает ночь на крыло.

Лес у дороги, безлистый и каменный,  
странные колкие травы и стынь —  
не избалованы дачными гаммами.  
Вместо приветствия «Стои или сгинь!»

Озеро светится зеркалом матовым,  
словно сигналы конца, камыши.  
Ветер дохнул зверобоем и мятою,  
но, ни гудка, ни огня — ни души.

Где-то Челябинск-15-й прячется,  
где-то уснули, живыми, Касли.  
Сосны у берега скорбными прачками:  
«Разве отмоешь? А люди ушли».

### ЗАПОЗДАЛОЕ ПИСЬМО

Я не писал тебе с тех пор,  
как нет тебя.  
Я поменял наш старый двор  
и тополя  
на эвкалиптов шумный ряд  
и тень олив —  
и что с того, что я не рад,  
туда уплыл.

Прости, отец, что я давно  
не там, где дом, —  
теперь в него нам не дано  
войти вдвоем,  
не приношу я каждый год  
тебе цветы,  
и холмик пуст, а море вброд  
не перейти.

Что прячусь за стеною слов,  
забыв вдвойне, —  
возле родительских гробов

лежать и мне.  
И что чужбина не сестра —  
в ней холод льдин,  
и что земля всегда сыра,  
когда один.

\* \* \*

Я не дружу со здравым смыслом,  
и также лезу из кулис,  
и строки, как на коромысле,  
качаются то вверх, то вниз,  
и голос сел, и до крещендо  
ему уже, как до луны...  
Я не прошу у вас прощенья —  
мы все заочно прощены.  
И продолжая путь вчерашний,  
подвешенный на волоске,  
я остаюсь в слоновой башне,  
мною выстроенной на песке.

#### **УТРО В БНЭЙ АИШЕ\***

Первая птица запела во тьме —  
скоро уже рассветет.  
Время подходит — из каменных сот  
выйти. Часы на стене

ближе к шести. Скрип автобусных шин,  
льется на землю бензин.  
Вновь проступает сквозь зыбкую синь  
линия горных вершин.

Где-то столица — провинция тут,  
правда, на собственный лад.  
Рядом поля из зеленых заплат,  
снова деревья цветут.

Кажется, я оказался, любя,  
у тишины на краю.  
Я никого на земле не корю,  
разве что только себя.

Важно не тронуть былые года —  
выйду неслышно, легко,  
дверью не стукнув,— идти далеко,  
правда, не знаю куда.

---

\* Израильский топоним.